

НИНА ДАШЕВСКАЯ

Около музыки

и другие
рассказы

ИЗБРАННОЕ

КомпасГид

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ



Нина Сергеевна Дашевская
«Около музыки»
и другие рассказы
Серия «КомпасГид. Избранное»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67700556
Около музыки и другие рассказы: КомпасГид; М.; 2022
ISBN 978-5-00083-769-6

Аннотация

Нина Дашевская точно знает, что чувствует каждый из её героев-подростков.

То же, что переживали мы все. Потому в её рассказах так легко узнать себя – какими бы разными мы ни были. И понять, какими удивительными оказываются окружающие нас люди. Как так могло выйти, что город от наводнения спасает мальчик, которого все вокруг считали трусом? Почему тот, у кого музыка звучит внутри, не может сыграть её лучше всех – и почему быть не самым талантливым так важно? Или почему мы не думаем, каким интересным может быть наш ничем не примечательный одноклассник – стоит лишь получше его узнать?

«КомпасГид. Избранное» – серия переизданий наших лучших текстов. Открывает ее сборник рассказов Нины Дашевской – обладателя Почетного диплома ИВВУ (Международного совета по

детской книге) 2021 года, номинанта на крупнейшую награду в области детской литературы – премию Астрид Линдгрэн.

Это издание объединяет любимые читателями произведения – рассказы из сборников «Около музыки», «Второй», небольшую повесть «Канатоходец» – и новый цикл «Ключ».

Содержание

Около музыки	6
Наушники	6
Ой, то не вечер	21
Весенняя соната	42
Панкратьев	55
Крендельков	88
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Нина Дашевская

Около музыки и другие рассказы

© Дашевская Н.С., «Около музыки», 2015

© Дашевская Н.С., «Второй», «Канатоходец», 2018

© Дашевская Н.С., «Ключ», 2022



Около музыки



Наушники

Мы с Никитой совершенно разные. Мой папа как-то сказал про нас – «лёд и пламень». И я обиделся. Потому что понятно же, кто из нас пламень получается. А я, его родной

сын, выходит – лёд, что ли?!

У нас общего – только замечания в дневнике. Количество. А вот качество разное. Мне пишут одно и то же: «Не слышит учителя!», «Витает в облаках», «На уроке присутствует чисто физически». Это, конечно, физичка написала. А потом географичка у неё собезьянничала и написала – «присутствует чисто географически». Я вот жду такого же остроумия от математика. С них станется друг у друга списывать изо дня в день. У меня иногда чувство возникает, что они через мой дневник друг с другом перемигиваются.

А вот у Никиты! «Принёс в школу живого ужа», «Поджёл библиотечную книгу». Или вот, последнее: «Прилепил мышшь жвачкой к потолку. И в процессе объяснения нового материала она упала на учителя». Мышь, конечно, игрушечная была. Но похожая!!! Конечно, он думал – кто-то из наших будет у доски отвечать. А Маргарита ходит там, ходит, объясняет, объясняет. А мышшь – болтается, болтается...

О, что было!!! К директору вызывали, конечно.

А директор наш дверь закрыл и там ему потихонечку говорит: «Кукушкин! Всё прощу. Только объясни – пакты это сделал!» По крайней мере, Никита так потом рассказывал.

Ну вот, а ещё мы ходим в музыкалку. Только я играю на виолончели, а Никита – ударник. Барабаны, значит, и ксилофон. Вот теперь вам, наверное, окончательно всё ясно.

Мы учились в одном классе шесть лет и абсолютно не замечали друг друга. То есть это он не замечал – меня вообще

мало кто замечает. А его! Он так устроен – только заходите в класс и сразу видите его. Его светлую растрёпанную голову и жёлтый свитер. «Кукушкин!» – «Я!» – отвечает он и выходит к доске на руках. И наша новенькая физичка внимательно его слушает и не моргнув глазом ставит пятёрку. И спрашивает ещё: «Тоже перевёрнутую ставить?..»

А про наш класс так говорят: «Седьмой „Б“ – это тот, в котором Никита Кукушкин?»

Так вот, однажды мы с нашим оркестром поехали на гастроли. Настоящие гастроли! В Новгород. На три дня. И нас поселили с ним в один номер. Все как-то договорились заранее, кто с кем будет жить, а я – нет. Мне было всё равно. Потому что у меня никогда не было друга. А у Никиты – наоборот! Миллион друзей. И каждый подумал, что Никита поселится с кем-то другим. И потому он тоже остался без соседа.

Ну, нас и поселили вместе. Всё-таки одноклассники.

– С кем ты? – спросила меня Лёлька. Она тоже из нашего класса, настрое в оркестре из нашего. – Что?! С Никитосом?! Ну ты попал!

И я вдруг обиделся. Во-первых – почему это я «попал»? А во-вторых – за «Никитоса». Потому что мне нравилось, как звучит имя «Никита». Просто и крепко. Говоришь – будто орех перекатываешь за щекой: Ни-ки-та. Согласные – как сухие полешки. Как ксилофон. Ему подходит, он ударник. Никита Кукушкин, па-парам, там-тирам. Будто барабан и тарелочка. А у меня вот дурацкое имя. Пустое какое-то.

Короче говоря, Никита взял карточку-ключ от комнаты и пошёл вверх по лестнице. Хорошо ему – палочки барабанные в рюкзак, и вперёд! А я тащусь со своей виолончелью... В общем, он первым открыл дверь. И сразу, прямо в кроссовках, рухнул на кровать. И заорал:

– Темницы рухнут, и свобода! Нас! Примет! Радостно! У входа!!!

– И братья ключ нам отдадут, – пробормотал я.

– Чего? – удивился Никита. И спросил: – Ты откуда это знаешь?

Я почему-то смутился.

– Ну... Не знаю. Стихи. Это все знают, разве нет?

И добавил:

– Ключ отдай – без него свет не включается!

– Слушай, Оська, а ты, похоже, ничего чел!

Оська. Вот оно, моё имя. Мой ужас. Ося. Одна согласная – и та никакая. Приходится обязательно добавлять «к». Но тут я как-то забыл, что имя у меня некрасивое.

Никита вставил карточку, и стало светло.

Мы проболтали с ним всю ночь. Его ждали в семи местах – играть в карты, травить анекдоты, ходить по гостинице и подсовывать нашим под дверь дурацкие записки. Но опять вышло то же самое – все думали, что он с другими. И за ним даже никто не зашёл.

И хорошо, что не зашли.

Только я сам не понял... Как можно было вот этому чело-

веку... Вот этому лохматому Никите-барабанщику рассказать то, чего я раньше никому не рассказывал. Я вроде бы и не хотел никогда рассказывать, а оказалось – хотел. Очень. Причём всякую ерунду.

Что мы дружили до школы с Лёлькой Погореловой, которая сейчас и не здоровается со мной. Хотя мы соседи. Что мы с ней копали вместе червяков и ловили жуков. Теперь, конечно, странно предположить, что длинную Лёльку в вечных уггах с какими-то блестящими штуками когда-то интересовали червяки.

– Что, прямо в руки брала? – восхищался Никита.

– Ну да... Она первая и брала! И в карманах домой таскала!

– Ух ты... Лёлька, надо же!

...Ну и Никита мне рассказал то, чего никому никогда не рассказывал. Про ту же самую Лёльку. Я обещал, конечно, что – никому. Ну и вам поэтому тоже не расскажу. Надо же, Лёлька. Вот бы никогда не подумал.

А ещё я показал ему свои стихи. Вот тоже не думал, что кому-то когда-то покажу.

И он... В общем, я знал, что он не будет смеяться.

Сразу понял. Но он ещё сказал:

– Надо же... А ведь не ужасные стихи. Ты, Оська, похоже, прямо поэт!

...Утром мы проспали завтрак. Нас разбудил звонок вал-

торниста Кольки Солнцева: «Вы что! С ума сошли! Выезд на репетицию через пять минут!»

Ну, я джинсы натянул, и мы помчались. А Никита вообще спал не раздеваясь.

И я молчал и думал: что, что теперь будет? Посмеётся он надо мной или нет? Над моими стихами, и вообще... Скажет другим? Не скажет?..

У автобуса толпились наши:

– Кукушаныч, садись с нами! Никитос, к нам давай! Ты где вообще тусил вчера?..

А Никита спокойно шлёпнул каждому по ладони и вдруг сказал:

– Не, я вот с Оськой сяду.

Так у меня появился друг.

* * *

И я неожиданно оказался с ним везде-везде, и со всеми тоже – мы на гастролях много тусовались. И я с удивлением обнаружил, что мне с людьми хорошо. А я всегда думал, что мне, кроме книжек, никто не нужен.

И плевать было даже на новую куртку, которую мне прожгли сигаретой. Но мама потом плакала. Говорила, что я весь пропах дымом. Что вот, дедушка дымил как паровоз и умер молодым. И не верила мне, что я не курил (хотя это правда).

...А вот Никите сразу поверила. Я, честно говоря, был уверен: наша дружба – на три дня. Только на эту поездку. Потому что так не бывает: что уж такого во мне интересно-го, чтобы Никита Кукушкин со мной дружил? Ему вон всех всегда мало. А я... Что уж во мне такого особенного, чтобы ему не надоест? Приедем домой – и привет.

После гастролей я заболел, конечно. Сразу же. Я вообще очень легко заболеваю, даже с удовольствием. Лежал себе и читал с планшета всё подряд.

А вечером в дверь раздался звонок. И я услышал неожиданное:

– А Оська дома?..

Никто раньше так не спрашивал. Я вообще-то далеко живу от школы, семь остановок на троллейбусе.

А Никита приехал.

– Адрес? У Погореловой спросил, конечно! Ты же сказал – вы соседи. – И он поставил в угол свои ролики.

А потом пошёл на кухню очаровывать мою маму.

И мама очаровалась.

– Надо же, Оська. Вот не думала, что ты можешь подружиться с таким интересным мальчиком.

Не думала она. Думала, конечно, что её сын – так, аппарат для поглощения борща.



А потом мы с Никитой придумали группу. Когда он узнал, что у меня гитара есть и что я немного играю.

– О, камрад!!! Забацаем что-нибудь, а, Оська? Перевернём умы. Зажжём с тобой! Чего ты – давай!

И мы дали. Я за неделю научился довольно неплохо на гитаре этой. А Никита, оказалось, играет на клавишах очень прилично. Он раздобыл где-то синтезатор – даром отдали какие-то друзья отца. Жуткий зверь, а не синтезатор. У этого престарелого мастодонта не работало несколько клавиш, но Никита как-то обходился без них. И музыку к нашим песням писал он. Надо же, оказалось, к моим стихам можно музыку. Из них можно – песни. И ещё оказалось, что от музыки, Никитиной музыки, они стали не хуже. Даже, может, и лучше.

Мама, конечно, немного переживала, что я забросил виолончель. Но Никита заверил её, что игра на гитаре «очень развивает гармоническое мышление».

К тому же в одной песне мы вставили виолончель. То есть я там бросаю свою гитару и устраиваю такой виолончельный запил... Самому нравится. Я такого на виолончели никогда не играл и не слышал ни у кого. А Никита там только подыгрывает мне тихонько на тарелочке. Пока на синтезаторной, а потом будет на настоящей. Здорово так – моя виолончель и его тарелочка. Это моя любимая песня, про Лётчика Экзю-

пери. Я долго боялся эти стихи Никите показывать, думал, он смеяться будет. Ну и вообще, не хотелось, чтобы он его трогал, Лётчика моего, музыку там сочинял... Казалось, испортит. А Никита прямо им заболел. И потом примчался ко мне – и, не снимая куртки, сразу за клавиши. И показал. И оказалось – вообще!.. Сумасшедше здорово. Не думал, что из моих стихов можно такое сделать, настоящее. Да и соло виолончельное там отличное получилось. В общем, Никита считал, что Лётчик Экзюпери – это самая наша хитовая песня. Бомба, говорил.

А потом произошла и вовсе невозможная вещь.

Я вышел за хлебом, а когда вернулся, услышал на кухне Никитин голос. Мама всё восхищалась, что он, ударник, так здорово на синтезаторе играет. А он ей говорит:

– Да что вы, в самом деле. Ваш Оська в сто раз талантливее меня. Что там я – просто знаю несколько аккордов. И перебираю их. За полгода можно выучиться. А вот Оська... Вы хоть стихи его видели? Да вы что! Такие стихи – вообще!!!

И тут он увидел меня. Мои раскрытые от ужаса глаза. И он улыбнулся широко и сказал:

– Ой, камрад... Похоже, я тебя заложил... Извини.

Знаете, что в этом невозможного?.. Что я на него не обиделся. Вообще. Не могу на него обижаться. То есть... То есть я тогда думал, что не могу.

Есть у нас такой человек – Гиреев. Человек этот... В общем, если честно – я бы хотел, чтобы его вовсе не было. Вообще не было – таких, как он. Особенно когда я увидел, как он Мансура ткнул головой о батарею. «Не стой здесь, ты...» – сказал ему Гиреев. И добавил такое слово, которое я не хочу повторять. В общем, смысл этого слова – что Мансур нерусский. Поэтому нечего ему здесь стоять, где Гирееву пройти надо.

У меня прямо всё внутри опустилось. Холодно стало мне внутри. Потому что человек – вот нормальный человек, я же нормальный! – должен был... Должен был что-то сделать. Не знаю что. А я в этот момент очень некстати вспомнил, что я, в общем, тоже не вполне русский. И что Гиреев меня выше на голову и толще раза в полтора. И что мне... И что мне руки надо беречь. И на всякий случай – голову ещё.

Поэтому я подождал, пока Гиреев уйдёт, а потом подошёл к Мансуру. Он сидел у батареи и трогал лоб.

– Больно?

– Отстань, – сказал Мансур.

И я отстал. Но теперь каждый раз, когда я видел Мансура, что-то внутри у меня ухало вниз.

А когда я видел Гиреева... Короче, я предпочитал его не видеть.

Но он сам меня нашёл. Я, в общем, тоже был виноват – на-
рвался. Просто в тот день никто не сделал английский, кро-
ме меня. Тема была сложная. А я не знал, что она сложная.
У меня мама английский в институте преподаёт.

В общем, Гиреев молча забрал мою тетрадь и пошёл что-
то оттуда перерисовывать. Я немного посмотрел на крошеч-
ную ручку в его огромном кулаке и отполз тихонько в сто-
рону буфета.

А потом вернулся и увидел Никиту. Он стоял ко мне спи-
ной, а вокруг него, конечно, толпился народ. И к нему подо-
шёл Гиреев. А я стоял за таким выступом, вроде колонны, и
Гиреев меня не увидел.

Он просто подошёл к Никите и ткнул в него моей тетрад-
кой.

– На, – сказал он. – Жиду своему отдай.

И Никита... И Никита кивнул. Просто кивнул, и всё.

У меня подогнулись колени. И кончился воздух. И я...
пошёл тихонько. Тихонько-тихонько. И дошёл так до самого
дома. Семь остановок, безо всякого троллейбуса. Вошёл. Лёг
на диван. И перестал думать. Мысли кончились.

А потом в дверь позвонили. И я не открыл. И позвонили
снова. И я опять не открыл.

Никита зашёл ещё раз, ближе к вечеру. Мама уже верну-
лась с работы, и он говорил с ней.

– Что случилось? – спросил он.

Я спрятался на балконе.

– Я не знаю, – растерянно ответила мама и взяла у него мою сумку. – Вышел, наверное, куда-то... Только что здесь был...

Я не ходил в школу три дня. А потом пошёл.

– Оськ... Ты что? – спросил меня там Никита.

Я не ответил. И получил своё «Присутствует на уроке чисто биологически».

Он, конечно, не видел, что я слышал. Но что... Что он – вот так... Ему это – нормально?! Что – «жид»? Да? И... он хотя бы должен был сказать мне. Что у него теперь при виде меня что-то там ухает. Вниз.

И я не понимаю: ведь он не боится Гиреева! Тогда, с Мансуром... Я рассказал ему. И Никита тихо подошёл к этому недоумку и сказал ему несколько слов. Очень тихо. И Мансура больше никто не трогал.

А меня?! А я?!

Я подумал, что мне нужно как-то пережить всего один год. Потом, за девятый, сдам экстерном. Всё равно – хоть на тройки. И пойду в музучилище. Там будут новые люди. Таких, как Гиреев, там точно не будет, в музыкальном таких не может быть.

И дружить я там ни с кем не буду. Хватит. Надружился.

Хотя Никита, конечно, ещё зайдёт. Синтезатор-то у меня. А его надо отдавать. Жаль, что не вышло у нас группы. Вот этого по-настоящему жаль.

* * *

У меня всё крутилась в голове наша песня одна, смешная, про людоеда, который терзался выбором – съесть принцессу или нет. И одному скучно, и кушать хочется. Съел, конечно. Голод не тётка. И не дядька.

Слопал, значит, их высочество
И рычит от одино-очества-а-а...

Здорово это Никита пел, смешно. В этом месте он должен был бросать свой синтезатор и бежать к барабанам. А пока мы дома репетировали, он взял у мамы разные кастрюльки и лупил по доньшкам ладонями, негромко, но так здорово, ух!

Рычит, значит, от одиночества. На самом деле всё это ерунда. По-настоящему мне только Лётчика жалко. Лётчика моего Экзюпери. Что его не будет, никогда. Песни этой. И соло моего виолончельного тоже не будет.

Просто окно открой
И смотри, смотри —
Видишь, машет тебе рукой
Лётчик Экзюпери,
С неба – машет тебе рукой...
Ты ведь тоже,
тоже видишь его?..

Не может Никита это петь. Не видит он моего Лётчика. Если он вот так просто может кивнуть Гирееву, и всё. Если ему это нормально, что меня – таким словом. Ну и пусть, и пусть.

Черт с ней, с дружбой этой. Жил как-то раньше и теперь проживу. А вот Лётчика жаль, что не будет.

* * *

...И в этот раз дверь открыла мама. И я услышал неприличное:

– А Иосиф? Дома?

Иосиф. Как странно. Я подписывал этим именем свои тетради, слышал его от взрослых. А сейчас кажется – услышал первый раз.

– Проходи, Никита, – сказала мама, – тапочки надевай, холодно у нас!

– Спасибо, – отозвался он, – я в школе уже поел...

– Никита, – засмеялась мама, – вытащи наконец свои наушники! Никого не слышишь...

И я понял. Вдруг. Сел на пол и чуть не заплакал, как маленький. Всё-таки какой он псих, вечно в своих наушниках. Не слышал он гиреевских слов, просто не слышал. А я устроил трагедию, как дурак.

* * *

– Знаешь, Оська, мне всегда казалось – такое дурацкое имя у меня. У всех – нормальные, а у меня – на «а» кончается почему-то. И не сократить никак. Какое-то рабоче-крестьянское. А вот у тебя!!! Сумасшедшее прямо имя. Иосиф. Библейское. Прямо – чувствуешь связь времён. И-о-сиф. С ума сойти...

Ой, то не вечер

Всё-таки до чего у него лицо противное, так бы и двинул в нос. И лоб чистый, не то что у меня. И высокий он, самый длинный в классе. И со своей гитарой ещё. Вот почему меня не отдали на гитару? Почему пианино это дурацкое? Что вот мне с него? Хотя Кирилл и не ходит ни в какую музыкалку, говорит – сам научился. Представляю, как это он сам, три аккорда выучил и бацает.

Нет, вы не думайте – пианино своё я люблю, оно хорошее. В прошлом году стало нравиться, когда нормально начал играть. Сейчас вот даже Шопена учу, не по программе. Красивый. Там, правда, место одно очень трудное есть, но я как раз с него начал, и уже получается. Оно зато и красивое самое. Я люблю дома играть, вечером – в темноте. Для себя. Когда никого нет и никто не скажет: не та нота! неровно!..

Но что толку! То-то и оно, что для себя. И никто не знает. А Кирилл выучил три аккорда и ходит довольный. И главное, девчонки вокруг – ах, с гитарой! Ах, как он прекрасен! Фу. Чего там прекрасного? Два глаза, рот и нос, как у всех. Правда, нос прямой. На редкость. Не то что у некоторых. Вот и хочется двинуть.

Чего-то я не о том начал. Думал ведь о другом, и тут опять Кирилл этот. Просто мы идём в поход, понимаете? Я давно

хотел.

Так здорово все ввалились в электричку!.. И на этом всё закончилось. Ну, вроде бы только началось. Но я ждал от этого похода чего-то особенного, а тут понял, что всё будет как всегда. Дело в том, что нас тринадцать человек. Они и сели – все вместе. В электричке вместе – это шесть мест, а тринадцать на шесть делится с остатком. Ну, я и оказался этим остатком, а они сели, с одной стороны и с другой. А я как-то сбоку, будто и не с ними.

Просто не сяду же я с Ольшанской. Вдруг она совсем не хочет со мной сидеть, что я буду навязываться. Ну и со всеми так. Не уверен я, что они со мной хотят сидеть. Можно было бы с Аликом, он сразу сел у окна, но рядом уже оказалось занято. А я ждал-ждал, как дурак, пока все усядутся. И мне не хватило места. А Кирилл сразу бухнулся посередине, и хоть бы что. И сразу все вокруг него. Всегда так.

Ну и ладно. В телефон играть нельзя – нужно беречь заряд, в лесу же нет розеток. И я просто сидел и смотрел в окно. Тоже, в общем, неплохо. Ведь поход – это не только они. Это вообще – лес и костёр. И ночёвка в палатке. Так что можно и одному быть.

Я смотрел в окно, а в голове у меня никаких мыслей, один Шопен. Не наглость ли это, что я за него взялся? Показать моей Валентине или нет? Нормально получается вроде. А она скажет, конечно: сума сошёл! Ты бы сначала этюд до-

учил, никак техзачёт не сдашь, а туда же, Шопена! А что я могу сделать, если мне Шопена интересно, а технический зачёт – неинтересно? Меня прямо воротит от этих гамм. И Баха неинтересно. Я выучил вроде, ноты правильно играю. А Валентина говорит: фраза там, веди-веди средний голос! А бас – почему бас бросил?.. Неохота мне.

Или вот сольфеджио взять. Зачем оно вообще? Мы там диктанты пишем. Мелодию играют, а ты нотами записываешь. Мне это несложно, у меня слух хороший. Но зачем? Или ещё – поём по нотам. Двухголосие. Это трудно, особенно когда другой голос не очень точно поёт. И ладно бы двухголосие! Она ещё чего выдумала – заставляет нас русские народные песни петь. На три голоса, на четыре. Она бы и на пять расписала, но у нас в группе больше четырёх человек не бывает, прогуливают все, седьмой класс. Одни девчонки ходят, мне поэтому всегда нижний голос достаётся. Я думаю, не может быть, чтобы русский народ сочинял так сложно. Наверное, она сама и пишет. Или какой-нибудь композитор, это называется «в обработке». Русская народная песня в обработке Чайковского, например. Делать им больше нечего, строчили бы симфонии свои. А то понапишут, а нам потом учить. Вот скажите, зачем мне это сольфеджио? Говорят, слух развивает. А у меня и так неплохой. И когда мне в жизни это пригодится – диктанты писать, и двухголосие это? Эти народные песни у нас под окнами часто орут, пьяными голосами, фальшиво. Никогда так не буду, противно как.

Другое дело – Шопен.

Приду я к кому-нибудь в гости, ну, скажем, к Алику. Скажем, на день рожденья. Может же он меня пригласить. Почему нет? Он всех приглашает. И у него дома совершенно случайно окажется пианино. И вот я скажу так небрежно: можно я поиграю? А он – да оно расстроенное... А я – это всё равно. Ну и дам им Шопена, вот они узнают! И Ольшанская, конечно...

Ну-ну. Разбежался. И день рожденья тебе, и Алик, и пианино. И Ольшанскую Алик никогда в жизни не позовёт. И правильно, кстати.

За окнами мелькали деревья. Потом какая-то свалка, а потом опять – деревья. Новые листочки у них, зелёненькие. Почему вот нельзя без свалки обойтись?

А Шопен был поляк. И всю жизнь тосковал по родине. По чему вот он тосковал – по деревьям этим? Мы были в Польше, там примерно такие же, только свалок не видно.

Чего это наши так разорались? А, в мафию играют. Я повернулся и тоже стал смотреть. Смешно. Совершенно очевидно, что Кирилл – мафия, так он неестественно себя ведёт. И понимает это один Алик. Спокойно так говорит: Кирюха – мафия. Сто пудов. У него смотрите, как глаз дёргается (и точно, дёргается). А остальные не верят ещё.

В общем, потом выяснилось, что я ошибся. Кирилла всё-таки убили, и он оказался мирный житель. А мафией был Алик как раз и ещё Сашка, дочка Палпалыча.

Вот она молодец. На неё всю игру никто не подумал, выиграли они с Аликом вчистую.

А потом мы приехали, выкатились из электрички и стали разбирать вещи. Пеший поход, сегодня нужно пройти тридцать километров до реки. Там ночёвка, и завтра – ещё десять до другой станции. Девчонкам оставили только своё тащить, а общее нам досталось. Кирилл схватил палатку, какая полегче, и пошёл себе. Конечно, у него ещё гитара. Конечно.

Самый тяжёлый рюкзак взял Палпалыч, наш историк. Классный, такой классный у нас классный, просто повезло. На вид дохлый очкарик, а рюкзакище тащит здоровый, альпинистский – выше головы.

– Ну что, камрады, кто ещё возьмётся за обснар?

Обснар – общее снаряжение. Инструменты, каны. Продукты. Я схватился – сначала чуть не упал. Потом сделал также, как Палпалыч: взгромоздил рюкзак на пень, сел рядом на корточки. Всунул руки в ляжки, застегнул ремень на груди. И разогнул колени, поднялся. Смог.

– Ну как? – спросил Палпалыч.

– Нормально, – ответил я.

И он кивнул. Не спросил: «Справишься? Не тяжело тебе?» Просто кивнул и сказал:

– Хорошо, Антон.

Кирилл посмотрел на меня скептически: вот придурок, сам нарвался, вот и тащи теперь.

Я хотел ещё свой рюкзак взять. Но Сашка, дочка Палпа-

лыча, его забрала:

– У тебя итак... А у меня лёгкое всё.

И мы пошли. Не очень-то и тяжело. Привык. Только голова немного начала болеть. Толи оттого, что рюкзак на плечи давит, то ли от свежего воздуха. И равновесие по-другому чувствовалось: чуть наклонишься – и заваливает набок.

Хорошо идти как! Я даже про Кирилла забыл, и про электричку, и вообще. Идёшь и чувствуешь, как под ногами Земля проворачивается. А впереди меня Сашка шла, мой рюкзак на спине, а свой – на животе. И я смотрел на её кеды. Выше просто голова не поднималась. И ещё я думал, что совершенно не замечал её раньше. Она такая была sereneкая, будто её вообще нет. И наша форма дурацкая ей совершенно не идёт, с прошлого года у нас эту форму ввели. А вот кеды, и джинсы, и полосатая кофта с капюшоном – как ей всё это ловко. Вот рядом Ольшанская идёт как дурочка. Чего в таких узких джинсах в поход? И стонет уже, хотя мы только вышли.

Вообще многие стали другие. Алик, например, надел тибетейку. И сразу стал как будто смуглее, и глаза ярче – теперь ещё больше заметно, как он отличается от всех нас. У Кирилла вон бейсболка с козырьком, а у Алика – тибетейка, он не боится солнца. Идёт, улыбается.

После перекуса мой рюкзак стал легче килограмма на три. Хлеб, колбаса и печенье. Но я этого почти не заметил: он

как весил тонну, так тонной и остался. Я сначала думал – не поднимусь с ним. Подошёл Алик, спросил:

– Как тебе? Может, поменяемся?

Я помотал головой. Нормально, дойду.

Ольшанская совсем сдалась. Хотела повесить свой рюкзачище на Кирилла, но он отказался. И правильно, нечего. Что вот у неё там? Наряды?

Алик подошёл и взял у неё рюкзак. Молча. Хотя они и не разговаривают, давно уже.

Вообще, мне потом Алик рассказывал, чего было по пути. Там, где мы шли.

Я же и не видел ничего. Только землю и Санькины кеды. И – не отстать. Не надо, Алик, всё нормально. Я донесу. И Палпалыч ничего мне не говорил. Впрягся – вези.

Зато! Когда впереди сквозь заросли блеснула речка! И мост, вот он – мы же хотели как раз к нему выйти!

Ура.

– Ну что, встаём или ищем место получше?

– Здесь, здесь! Всё! – запричитала Ольшанская. И не только она. И я был им благодарен. Потому что умер бы, а не сказал – всё.

Главное, снимешь рюкзак – и опять ощущение, что он есть. Висит на плечах.

Я даже не сообразил, что Алик спросил меня: «Ты со мной?» В палатке. Я просто кивнул. Неужели дошли? Хоте-

лось просто залечь в траву. Просто залечь. Просто...

Нужно ставить палатку. Сейчас поставим – и всё... Я натягивал тент и только сейчас сообразил: меня Алик к себе позвал, у него же своя палатка, сам ведь предложил – здорово как. Ух ты, как ровно у нас получилось. Ничего не было, а тут раз – дом готов. Сейчас разложим там коврики, и...

– Эй, камрады! У кого ещё силы есть подежурить?

Это Палпалыч. Как не бывало для него этих тридцати километров, будто каждый день ходит. И его Сашка рядом – уже хозяйничает.

Вообще у них отношения как-то на равных. Я в школе этого не замечал, там всё чётко: он учитель, она ученица. Не все и знали, что она его дочка, мало ли Климовых на свете. А тут – он подходил к ней с картой, спрашивал: как считаешь, пройдем здесь? Нет, отвечала Сашка, тут всё затопило, точняк. Лучше вот этой дорогой, она повыше... И мы пошли так, как она сказала. И палатку она сама поставила, им на двоих – быстро, ловко. А Палпалыч уже устраивал костёр.

– Ну, кто послужит обществу?

Кто-кто. В общем, я пошёл за водой. Потому что странно смотреть, как все отвалились, а Санька с Палпалычем вдвоём всё делают.

А потом и остальные подключились, и Алик с Кириллом притащили какие-то коряги и рубили их по очереди. Мне очень хотелось попробовать, но я никогда раньше не держал в руках топора. И побоялся. Что все увидят, как я совсем не

умею. Вот Кирилл умеет – надо же, как ловко.

– Алик, вон ту чурку подкинь мне!

Алик дернулся – сильно, прямо изменился в лице. А потом засмеялся – а, вот это...

А я стоял и мешал кашу в чёрном кане.

– Антошка-поварёшка, – сказала мне Ольшанская.

И меня это нисколько не задело. Я даже удивился. Раньше, если Ольшанская говорила какую-то глупость, я всегда переживал. Даже если не про меня. Вот она Алика как раз чуркой назвала когда-то. И я всё думал: как она так?! Почему вот такая красивая и такая дура?! Даже больше, чем Алик, переживал. Алик ведь знает, что его все любят, он такой лёгкий потому что человек.

В общем, почему-то оказалось, что мне совершенно на неё наплевать. Как же это хорошо! Наконец-то.

А потом Алик спросил Кирилла:

– Ты гитару зачем тащил? Играешь или чисто для понта?

И Кирилл пошёл за своей гитарой. Сел и тихонько начал настраивать.

Я сидел на бревне, вытянув ноги к огню («Смотри кроссовки не спали», – сказала мне Сашка). Наблюдал, как там всё происходит, в огне. Как изменяется каждую секунду. И слушал, как Кирилл настраивает гитару. И думал, что устал. Что никогда в жизни ещё так не уставал, просто не знал, что это такое. И как же это хорошо – вот так устать, физически,

и сидеть потом, вытянув ноги к огню...

– Ля повыше, – сказал я Кириллу. Он не ответил, но подкрутил повыше. Стало хорошо. Вообще, у него тоже слух неплохой – чисто настраивает, внимательно.

Потом Палпалыч ударил ложкой в миску – ужин!

И было вкусно, и в кружку мне набились сосновые иголки, и я жевал их и думал: как же, правда, вкусно. И что можно вполне быть, как Алик, одному и одновременно со всеми. У него легко это получается: сидит рядом, молчит— и спокойно. С ним спокойно молчать.

А потом Кирилл отставил в сторону свою кружку и опять взял гитару. И запел.

Чёрт. Вот же зараза этот Кирилл.

И я простил ему и рост, и прямой нос, и чистый лоб. И всё зазнайство его – что он знает, какой он неотразимый. Потому что он пел так хорошо, чисто... Но это ладно, петь можно и от природы. А он ещё и невероятно круто играл. Я этого никак не мог ожидать. Какие там три аккорда! Я всё смотрел на его левую руку, как он переставлял аккорды – ловко, естественно, ещё подыгрывал какие-то голоса. И пел спокойно, негромко незнакомую песню на английском языке. Хороший у него английский, мягкий, будто родной. И играет... как будто это ничего не стоит так играть. Но я-то знаю... Я знаю, что это не просто так, это работа – так научиться. Вот же как хорошо. Зараза какая этот Кирилл, лицо противное всё-таки. Гитарист, тоже мне. Ладно. Чёрт с ним. Ещё только

играл бы...

Я не знал этих песен. Совсем. Только одну, «Yesterday», конечно, слышал, но слов не знал всё равно. А многие знали. И подпевали. А Палпалыч сказал:

– Надо же, не думал, что ваше поколение поёт битлов!

– А что, вы думаете – наше поколение хуже вашего? – спросил Кирилл.

– Нет, не хуже, – ответил Палпалыч, – точно нет. Я, честно говоря, думал, вы тут трупами свалитесь, а вы! Знал бы – посложнее бы выбрал маршрут. И ты вот, битлов знаешь тоже, я-то думал, у вас совсем другая музыка...

– У нас разная, – ответил Кирилл. – Вот ещё такая есть, это мой друг написал.

И он стал тихо перебирать струны, а потом запел, почему-то на другом языке, совсем непонятном. И пел негромко, красиво. Естественно так, будто это его родной язык. Способный, значит.

– Хороший у тебя друг, – сказал Палпалыч, – а почему на французском?

– Потому что он француз, – засмеялся Кирилл.

– А про что это? – спросила Ольшанская.

– Про что могут петь французы, как ты думаешь? – опять засмеялся Кирилл. Мне почему-то показалось, что эта песня ему особенно дорога. И теперь он не хочет этого показать – смеётся, чтобы никто не понял.

А Сашка сказала:

– Давай ещё!

И Кирилл дал ещё, и были песни и на русском, но я всё равно их не знал. А многие знали и подпевали, и всё смелее. Мне казалось – зря. Лучше бы он один пел. Хотя Сашка – кто бы мог подумать – Сашка, она ещё и поёт! И хорошо, тоже очень чисто. Больше всего мне понравилось про Дубровского. «Не плачь, Маша, я здесь, не плачь, солнце взойдёт...»

А потом ещё – «Под небом голубым есть город золотой...». Это они пели только вдвоём, Кирилл с Сашкой. Какой голосу неё! Как вот... Травой пахнет. Эх, мне бы ещё научиться на гитаре!

А потом Кирилл вдруг потерял один аккорд и несколько раз пытался попасть, и всё не подходило.

– Субдоминанту попробуй, – сказал я.

– Чего?

– Ну, си-бемоль, – объяснил я. Не зря же сольфеджио у нас. – Минорный. У тебя фа-минор же.

– О, круто, подходит! А ты играешь, что ли, тоже?

– Не, – помотал я головой, – я только на пианино...

– А, – оживился Кирилл, – тогда иди посмотри – вдруг там в кустах стоит белый рояль?

И все засмеялись. А нечего потому что было лезть со своей субдоминантой – тоже, умник.

И мне вдруг скучно стало с ними. Не то что скучно – просто обидно, что все поют, вот, слуха нет – и ничего, поют! Орут просто, зато весело им и они все вместе. А я нет. И чего

мне слух этот? Слышу, а петь не могу. Как собака. И слов не знаю, и вообще... Вообще я какой-то не такой почему-то.

В общем, я взял свою миску и пошёл на берег её мыть. Ведь засохнет, и потом не отмоешь.

Заодно я прихватил и Санькину миску тоже. Она потом про неё вспомнит – а посуда чистая! Мелочь, а приятно, наверное. А мне всё равно, одну мыть или две.

Я спустился к берегу. Казалось, всего на несколько шагов отошёл – а ночь тут совсем другая. Такая... ночная. Тихая. Я вдруг отчётливо понял, что мы тут одни. И что этот лес стоял тут задолго до нас и ещё долго простоят... А мы тут – случайность.

ТЬфу, какая же вода холодная. И не отмывает ничего, какие противные эти миски. Я потёр их песком, вместе с илом и комком травы. Вроде лучше, но всё равно... Пальцы заледенели, и опять не отмывается... Фу, гадость какая оказалась, как же раньше посуду мыли – без горячей воды, без средства этого... И сейчас так моют, наверное, в некоторых местах – выходит, всё время из грязной едят, что ли... А над рекой небо. И тишина. Звенит. И голоса у костра не нарушают этой тишины, она сама по себе. Звёзды какие яркие, отражаются в воде.

Я пустил миски в воду и просто смотрел, как они плавают. Тьфу, чёрт, – всё-таки оступился, по мокрой глине нога съехала в воду.

Пойду к костру сушить. Звёзды какие красивые. И Боль-

шую Медведицу видно, и Малую. Малую редко так увидишь всю, она тусклая обычно.

Я вытер миски травой, а потом рукавом и пошёл наверх. Захотелось в тепло – совсем заледенел.

А наверху было почему-то тихо. Только слышно, как костёр трещит. Сашка сидела опустив голову. Кирилл держал обеими руками кружку, из неё валил пар. Греется. Устал, наверно, – ещё бы, столько играть. И все молчали. Будто ждали чего.

А потом Сашка подняла глаза, посмотрела куда-то далеко, сквозь меня, и вдруг запела:

Ой, то не вечер, то не вечер...

Я замер. Такой голосу неё. Таким поют не народные песни, таким – в немецком хоре мальчиков хоралы какие-нибудь строгие. И услышал, как тут же подхватил другой ГОЛОС:

Ой, мне малым-мало спалось...

И такой был этот нижний голос сильный и уверенный, что я не сразу понял, что это мой. Как-то автоматически сработало, я же только что сдавал на сольфеджио эти шесть номеров, шесть русских песен. Такие дурацкие, казалось... Нотами пел, ну и словами тоже заставляли учить. Вот и выскочи-

ло само.

Ой, малым-мало спалось,
Ой, да во сне привиделось...

Никогда не думал, никогда, что это может быть так красиво. Сашкин голос летел над рекой, далеко-далеко. И мой тоже. И так это красиво вместе, на два голоса.

Вот тебе и двухголосие.

Ой, налетели ветры злые...

Я как будто только сейчас понял, о чём это. Что эта песня – ну... Ну, она как этот лес, как речка. Что вот – всегда была. Что раньше другие люди пели – когда не было ни телефонов, ни... Когда ещё посуду вот так мыли. Ни палаток не было таких, ни электричек, ни горячей тебе воды из крана... А лес был, и речка. И ветры злые были тоже.

Ой, пропадёт, он говорил,
Твоя буйна голова...

Песня кончилась. И долго ещё летел Сашкин голос, над землёй, над небом. Ну и мой тоже – где-то рядом. И все молчали. Только костёр трещал.

– Ни фиги себе, – сказала Ольшанская. И тут я понял, что

стою с двумя мисками в руках и что у меня совершенно мокрая нога.

– Это такому теперь в музыкальных школах учат? – спросил Кирилл.

– Представляешь, – кивнул я.

– Надо же, Тоха. Неужели в школе? У меня дед её пел. А ещё чего – «Степь да степь», может? – спросила меня Санька.

– Давай, – сказал я. Стало легко. Все смотрят на меня, а мне легко, надо же.

Степь да степь кругом,
Путь далёк лежит...

Хорошо как. Хорошо петь вместе. И что такой голос у неё, точный. Легко вместе петь, просто... Ну, идеально с ней вместе петь, ни с кем ещё так не было. Точно выходит, интонационно. И кроме того, что очень точно... Кроме этого – есть что-то ещё. Не знаю, как сказать, – затем ведь и музыка, что словами не скажешь.

Нам пытались подпевать, и неплохо. Надо же, знают. Как странно – откуда?.. А потом перестали, опять остались наши два голоса. Видно, решили не мешать.

Как хорошо с Сашкой петь. И голос её – главный, она ведёт.

И вдруг я представил, как на самом деле зима. И этот ям-

щик замерзает в степи. Замерзает, и сделать ничего нельзя.
И степь. И всё.

Передай жене,
Что я в степи замёрз,
А любовь свою
Я с собой унёс...

Потом не хотелось ничего больше петь. Хотелось чаю и снять мокрый носок. И анекдотов, и смеяться. Потому что невозможно это, что человек вот так замёрз в степи, и всё.

И голос Сашкин, как будто прохладный. Без лишних обертонов, разливов-переливов. Чистый как вода. Иногда же хочется просто воды, а никакой не фанты и не чаю даже.

Хотя чаю – тоже неплохо. Из железной кружки, непонятно какой заварки, зато с дымом. В голове всё ямщик этот. Какая красивая песня всё-таки. Прямо как-то... В самую середину.

– Э, а про сгущёнку забыли! – Палпалыч поискал что-то в мешке и нашёл сгущёнку. Открыли, налетели и ложкой из банки – кто в чай, а кто прямо так. Я – прямо так, конечно. Вкусно как!

– Саньке слух от отца моего достался, – рассказывал Палпалыч, – а мне вот Бог не дал. Слышу, а петь не могу – сам понимаю, что фальшиво очень. Вот и помалкиваю...

– Это значит, что слух у вас хороший как раз, – сказал я. – Просто координации нет между слухом и связками. Бывает, детей в музыкалку не принимают, потому что они плохо по-

ют. А потом оказывается – у них слух хороший. Это развивается, кстати, – связки, голос...

– Да мне поздно уже развивать, – покачал головой Палпалыч.

– И ничего не поздно, – сказала Санька и почему-то надулась.

А мне было так странно, что я чего-то такое длинное и умное сказал при всех. А потом Палпалыч стал нам рассказывать про походы. Как он свой первый поход повёл сам в шестнадцать лет. И как они там с местными что-то не поделили, еле ноги унесли. А потом – как они в прошлом году ходили на Эльбрус, не на самый верх, но всё равно. Из детей были только два мальчика лет пятнадцати и Санька. Взрослое восхождение, но она дошла, как все.

Сама же Санька куда-то исчезла. Ей, видимо, совершенно не хотелось слушать, как про неё рассказывают. Про то ещё, что у неё компас в голове – всегда чувствует направление. Что с ней не заблудишься.

– Это только в лесу, – сказала Санька. А, вернулась всё-таки. – В городе у меня все настройки сбиваются, теряюсь на ровном месте. Кирюха, а поиграй ещё чего-нибудь, а?

– Всё для тебя, – сказал Кирилл. Всё-таки он получит у меня в нос когда-нибудь.

Он потянулся за гитарой. Как-то через Сашкину коленку. Ну, незаметно так задел, будто случайно. И Санька отодвинулась. Просто отодвинулась, не демонстративно, а так, мол-

ча. Ладно, пусть живёт этот Кирилл, чёрт бы с ним.

И я вдруг заорал вместе со всеми:

– Ничего на свете лучше не-ету! Чем! Бродить! Друзьям!
По белу све-ету!

Тоже хорошая песня, кстати. Там так хорошо расщепляется на голоса. Все верхний поют, простой. А я могу второй, и Кирилл может. Так странно, у меня будто какой-то узел был на горле, а тут вдруг распустился – и запелось само.

Потом все потихоньку в палатки разошлись. Кто спать, кто в карты играть, а Кирилл с Ольшанской вдвоём куда-то слились. И ладно.

Остались мы с Санькой. Я не мог уйти – у меня кроссовка сохла у костра.

– А меня папа сначала сдал в музыкалку, но я сбежала, – рассказывала Санька. – Мне, понимаешь, сразу играть хотелось! А тут – локоть выше, кисть там... Бред какой-то, и сольфеджио ещё...

– А мне сначала всё равно было, – ответил я, – говорят – я делаю. Ну, мне нравилось просто, что пианино полированное такое, большой зверь. Такой... динозавр. Ручной. Разговаривает... Ну, и получалось чего-то там, хвалили... А на музыку потом пробило, в прошлом году. Как это... Ну, всё не зря. И локоть – это всё ерунда: когда чувствуешь мелодию, он сам идёт. А сольфеджио – да-а-а... Я раньше думал – это жесьть. А сегодня понял зачем. Я, знаешь, никогда рань-

ше так не пел.

– Ау меня дедушка пел, мы с ним вместе... И на рояле он играл. И я под роялем этим сидела всё время. Знаешь, там так снизу интересно, двигаются такие штуки деревянные... Знаешь? – Я кивнул, а она продолжала: – Шопена играл. Ты умеешь Шопена? – Я опять кивнул. – Круто... А ещё Баха он играл, такого... А Баха умеешь? – Я кивнул ещё. Чего-то разучился разговаривать, только киваю. – Дедушка любил очень Баха. Полифонию, когда разные голоса переплетаются. Он говорил – чувствуешь, что в твоих руках целый мир... И там несколько героев, и ты управляешь сразу всеми... Не одного героя ведёшь, а целый мир. Такой Толкиен. Понимаешь?

Я неожиданно понял. Это именно то, что Валентина из меня так долго пыталась выбить: что ты ведёшь разные голоса и ни один нельзя бросить. Целый мир. Попробовать бы!

Тут резко поменялся ветер, и на Саньку повалил дым. Но она не сбежала и руками не стала махать, просто сидела в дыму, и всё.

Только слышно было, как она засмеялась вдруг:

– Знаешь, Тоха, я ведь раньше думала – ты такой совершенно неинтересный, как валенок.

Я ей хотел сказать, что она вообще-то тоже серая мышь, совершенно. Но не стал. Значит, теперь она думает, что я интересный, да? И что мне теперь – интересное ей говорить? У меня вообще язык отнялся. Но тут дым повалил на меня,

и я не выдержал – вскочил, глаза заслезились, закашлялся...

Откуда-то нарисовался Кирилл:

– Они тут интеллектуальные беседы ведут! Вообще-е-е!

Сашка даже головы не повернула. А я посмотрел на Кирилла и вдруг увидел: он совершенно обыкновенный. Два глаза, рот и нос – обычный нос, вообще ничего особенного. И вдруг вся моя злость на него куда-то делась. И голос ко мне вернулся, и я сказал ему:

– Слушай, Кирюха. А покажи мне аккорды, а?

Весенняя соната

Переезжать не хотелось. Просто не укладывалось в голову, что они вот так возьмут и уедут. И никогда сюда не вернуться...

Лишь когда грузчики вынесли на ремнях пианино и за ним обнаружился квадрат тёмных обоев – только тогда Лёлька поняла: да, на самом деле уезжают. Насовсем. Переезжают к дяде Лёне – и у мамы с ним теперь начнётся совсем другая, новая жизнь. Но почему для этого нужно было разваливать её собственную жизнь, Лёлькину?! Её даже и не спросил никто...

Новый дом, новая школа – ничего здесь ей не нравилось. Даже своя комната – впервые по-настоящему своя! – казалась чужой. С видом на гаражи... И каштаны здесь не растут.

Лёльке плохо. Плохо! И она купила в переходе чёрную куртку с черепом во всю спину. Оказалось – очень удобно. На любую погоду. Лёлька назвала её «моя черепуха» и носила не снимая. Джинсы – подарок дяди Лёни – изрезала в клочья и выкинула. Ещё постриглась – совсем. То есть абсолютно, под «ноль». Мама всё молчала; только когда увидела лысую Лёлькину голову – кажется, заплакала. Ну и пусть. У неё теперь своя жизнь, а у Лёльки – своя.

В новом классе с ней пытался познакомиться некто Серый – долговязый нескладный парень, тоже весь в черепах. Лёль-

ка так его отшила, что сама испугалась. Пыталась начать курить, но не понравилось. К тому же курили все – оказалось даже как-то оригинальней не курить. Серый всё не отвязывался – пытался найти с Лёлькой общий язык. Спрашивал, например, какую Лёлька музыку любит.

– Бетховена, – отрезала Лёлька.

– Это чего – группа такая? – завертел Серый ушастой головой.

– Нет, это такой композитор! Людвиг ван. Малоизвестный, в общем...

А потом появился Джон. Странное дело: Лёлька терпеть не могла вывернутые по-иностранному имена, всяких там Алексов и Дэнов, а тут – Джон... Наверное, по паспорту – просто Иван, но «Ваня» ему не подходило. Старше лет на пять. Все вечера напролёт гонял по улицам на скейте.

Лёлька и выскочила из подъезда – прямо ему под колёса. Другой обязательно наехал бы, но Джон виртуозно увернулся – лишь задел Лёльку рукавом:

– Извините, мадемуазель!

И посмотрел рассеянно, чуть насмешливо. Не потому, что лысая Лёлька в её «черепухе» была так себе «мадемуазель», а просто он всегда и на всех смотрел так. Потом не глядя стукнул ногой по скейту – и тот послушно прыгнул ему в руки, как собачонка.

Вот и всё, больше они и не разговаривали. По отдельности

Лёльке не нравилось в нём ничего: ни длинные волосы, ни серьга в ухе, ни заклёпистая куртка, ни жёлтые кеды (старшеклассницы без конца обсуждали, что «такую» куртку с «такими» кедами «не носят»), В такт Лёлькиным шагам – Джон, Джон, Джоннн...

...Новая классная вдруг попросила Лёльку поговорить после уроков – удивилась, как это новенькая, совсем не похожая на отличницу, написала лучшее в классе сочинение. И по содержанию, и по всем запятым... Не случилось ли у неглупого человека Лёльки чего в жизни – может, ей помощь нужна?

Хотелось ответить – отстаньте. Но Лёлька сдержалась и отвесила вежливым голосом вот что:

– Я очень ценю ваше участие, Вера Сергеевна, но у меня всё в порядке. Абсолютно.

Так-то! Совершенно не хотелось, чтобы кто-то лез в её жизнь. Вернее, в главную часть её жизни, настоящую. Это был её секрет. Вот удивилась бы Вера Сергеевна, если бы узнала, куда Лёлька ездит каждую неделю!

Куда-куда, домой, конечно. На старое место. Не прямым путём: автобус – метро с пересадкой – автобус, а хитрым: на электричке. Есть такие электрички, которые въезжают в Москву с одного края и, обогнув центр, выезжают с другой стороны. Станция – прямо возле нового дома. Лёлька прыгала в полупустую электричку, и тут начинались превращения.

«Черепуха» снималась, под ней обнаруживался приличный полосатый свитер; на лысую голову – тубетейка, Антошкин подарок. Из электрички выходила совсем другая Лёлька и шла не в свой старый дом – там давно чужие люди – и даже не во двор. Шла она в старинное здание из красного кирпича, прямо за железной дорогой. Серый бы дар речи потерял, если бы узнал. Сумасшедшая Лёлька шла в музыкальную школу.

Школу она окончила в прошлом году, но Анна Самойловна говорила: приходи! В любой день – найдём время, позанимаемся.

Она и приходила – не то чтобы заниматься, а просто – поиграть музыку. А потом – это главное! – приходил сын Анны Самойловны, Антон.

Антон – скрипач. Они полжизни просидели за одним столом в школьном коридоре, за уроками. Лёлька, тогда ещё первоклассница, ждала свою маму, а он, второклассник, – свою. Анна Самойловна занималась тут же, за дверью. Если у неё не было урока, то она пускала ребят в класс – Лёлька учила там математику, Антон занимался на скрипке.

За первые четыре года они обменялись едва ли десятком слов. Пока Антошка вдруг не предложил:

– Может, подыграешь мне? Тут аккомпанемент вроде несложный...

Лёлька, смущаясь, села за рояль – и перепутала с испугу

больше половины нот. Но Антошку это не смутило: давай заново! И опять заново! А давай посмотрим – что тут ещё есть интересного?

Так началась их «читка с листа». Читать с листа – значит играть незнакомую музыку, в первый раз. Как бы на черновик. Потом – второй раз, третий – и всё, хватит, дальше неинтересно. Следующая страница!

Антошкина учительница скрипки ругала его за «читку»: что это за игра, тяп-ляп – и готово! Лучше бы гаммы играл, следил за руками! А вот Анна Самойловна как будто и не замечала, что они «читают с листа». Зато в классном шкафу откуда-то появлялись всё новые ноты...

Они переиграли весь учебный репертуар, потом взялись за Гайдна, Моцарта...

Больше всего Лёлька любила сонаты – такую музыку, где пианист не просто аккомпаниатор, но – на равных со скрипачом. Для них ничего не было «слишком сложно» или «ещё рано» – играли Шуберта, Грига, Рахманинова...

Только однажды Тошка смутился – когда на полке появился толстый том сонат Бетховена:

– Это, наверное, нам не по зубам пока. – И поставил Бетховена на место.

Лёлька окончила музыкальную школу с четвёркой по специальности, но Анна Самойловна сказала:

– Четвёрка – это ерунда. Техника, конечно, тебя подводит.

Но ты, Лёлька, музыкант – настоящий. Ты приходи ко мне ещё и, главное, играй. Скучно тебе, плохо или, наоборот, радость – играй! Знаешь... Люди, они всякие бывают. И в жизни бывает всякое. А твой инструмент не предаст никогда.

И они играли. Антошка уже учился в музыкальном училище, но всё равно забегал в школу. И в этом году они начали-таки Бетховена. Тошка относился к нему с благоговением, Лёлька не могла понять – что он там такого нашёл? Гайдн – чистый, как вода из горной речки. Бах – сложный, умный; кажется, что старую-старую тяжёлую книгу читаешь и вдруг понимаешь, что там... Моцарт – что тут скажешь, это сама музыка... Летит, не касаясь земли. Это, конечно, Антошкины слова, но и Лёлька с ним полностью согласна. Только что он нашёл в этом Бетховене?

Играли, конечно, кое-как – такое Лёльке сразу не осилить. Добрались с грехом пополам до пятой сонаты, Весенней...

И вдруг сразу, с первых нот, – Лёлька даже и не думала, что может быть так, в один миг, – как с Джоном! – с первых же нот показалось: не может быть, чтобы вообще была такая музыка. И чтобы так просто, у Антошки под пальцами, – и ответ пианино, и теперь – она, Лёлька, и опять Антон, и они вместе, и дальше, дальше... Вот так Бетховен – глухой, сумасшедший, как он сумел – такое?! А Лёлька-то всегда думала, что Бетховен – революционер: Пятая симфония, та-да-да-да-а-ам! Та-та-та-да-а-амммм! Судьба стучится в дверь! Прячьтесь все!.. А тут – Весенняя соната. Такая нежность.

Да, это правильное слово, хоть и странно произносить – нежный Бетховен...

Страшно было, что Тошка найдёт себе пианистку в училище – настоящую пианистку, не такую, как Лёлька. Но пока обходилось.

– Представляешь, там никто не хочет «читать» – все только своей специальностью заняты! Правда, я одну такую Дашку как будто отловил – так она поиграла пять минут и сразу: пойдём в кино! Представляешь?!

Ещё бы! Лёлька смеялась:

– Эта Дашка, она хорошенькая хотя бы?

– Да так, – пожимал плечами Антон, – не очень, примерно как ты...

Лёлька не обижалась – они хохотали вместе. Ему можно так шутить и обзывать стриженую Лёльку «Котовским». Они друзья. Конечно, просто друзья – особенно это стало понятным сейчас, когда появился Джон. Пожалуй, Антон единственный, кому было бы можно рассказать про Джона. Но Лёлька не стала.

«Джон!» – первая нота Весенней сонаты...

Начался ноябрь, загнал Лёльку наконец домой, в новую комнату. А комната оказалась с сюрпризом, да ещё с каким!

За стенкой жила скрипка. Как это она раньше её не слышала?! Настоящая скрипка, взрослая – уж Лёлька-то в этом

понимает. Скрипка играла разную музыку – со временем Лёлька выучила её наизусть. Это, кажется, Бах, а это, похоже, Чайковский... Одну пьесу Лёлька знала точно: «Кампанелла» Паганини. Антон говорил, это дико сложно – он пока ещё так не научился. Уж если Тошка не научился...

Стенка – общая, а подъезды разные. Так что Лёлька никак не могла вычислить скрипача. Целыми вечерами просиживала она возле этого подъезда, но со скрипкой никого так и не увидела. А потом всё-таки догадалась кто. Там жила одна такая девушка, очень красивая – не так, как в модных журналах, а как во французских фильмах. У неё были каштановые волосы, клетчатое пальто и длинный шарф. Лёлька, когда вырастет, хотела бы стать именно такой! Правда, Лёлька никогда не видела её со скрипкой, зато слышала из её машины музыку – не Моцарта или Вивальди, а что-то сложное – может быть, Прокофьева... Конечно, Клетчатое Пальто – музыкант! Она так смотрит на небо, как будто у неё внутри – музыка...

Всю зиму Лёлька слушала скрипку за стенкой и ездила к Антону в музыкальную школу. К марту волосы у неё отросли – и уже совсем не хотелось стричь их! К тому же облачко коротеньких волос ужасно шло ей. Это даже Серый заметил. Оказалось, он не такой уж и Серый – стихи пишет... И хорошие, представьте, стихи! Всё-таки нельзя человеку считать себя несчастным, если ему пишут стихи, да к тому же у него

есть скрипка за стенкой, Тошка с Бетховеном и где-то там ещё – Джон...

С Джоном они встретились первого марта на автобусной остановке. То есть не то чтобы встретились – Джон стоял сам по себе и смотрел на небо, а Лёлька смотрела в стекло припаркованного джипа. Потому что в стекле отражался он, Джон, и смотреть на него можно было сколько хочешь... На нём был старый – как будто из прошлого века – синий пиджак, зашитый красными (специально!) нитками. Он курил трубку, как Гэндальф. А на рукаве у него был очень старый полустёртый значок – очки, как у Поттера, но лицо другое. Лёлька подошла ближе, будто бы случайно, и – разглядела: Джон Леннон. Ну конечно же, Джон!

Может быть, это значок его родителей? И его настоящее имя на самом деле тоже – Джон?

Подошёл Лёлькин автобус. Джон сел в него, а Лёлька осталась на улице. Ехать с ним вместе – это было для неё слишком много. Она и так смотрела на него целых десять минут... Захотелось снять капюшон – и Лёлька стояла с растрёпанной головой, впервые в этом году, впервые на этой улице.

А вечером случилось чудо. Дядя Лёня, смущаясь, стал говорить что-то невнятное о том, что надо бережнее к маме относиться... Лёлька долго не могла ничего понять и по привычке надулась. А потом дошло – у неё будет брат! Надо же,

настоящий брат!

Лёльке никогда раньше не хотелось, чтобы у неё был брат или сестрёнка. А тут... Брат. Лёлька вспомнила мелкого стриженного первоклассника из школы – вот, будет такой же... И она будет говорить ему: давай скорее, долго ты будешь?! Я из-за тебя опаздываю... В университет или куда там.

– Можете на меня рассчитывать. Ну, гулять или что ещё нужно, – пробурчала Лёлька и, зачем-то хлопнув дверью, сбежала в свою комнату. Дядя Лёня, конечно, решил – она переживает. А Лёльке хотелось побыть одной. Брат будет! Уже в этом году, осенью. Листья будут, и Лёлька будет его в коляске возить, наушники в уши, и ходить-ходить бесконечно по улицам с коляской этой... Клетчатую бы купить.

И тут за стенкой заиграла скрипка. Лёлька замерла – этого просто не могло быть! Скрипка играла Весеннюю сонату Бетховена.

Скрипку, видно, тоже накрыло весеннее настроение – ведь март же, первое число! И там, где мелодию подхватывает пианино, Лёлька открыла крышку пианино и вступила. Играла и прислушивалась – здесь ли скрипка? Здесь, здесь!

...Всё-таки они сбились, и скрипка стала играть зачем-то одну ноту. А, ну конечно – просит ля! Пианино у Лёльки расстроенное, на полтона ниже... Подстроились, и снова – Весенняя соната! На этот раз – от начала до конца первой части. Надо же, Лёлька помнит всё наизусть!

Какая же это музыка – волшебная, нежная, тонкая, весенняя!!!

Вечером ждала – может, заглянет кто? Ведь ей же интересно должно быть, с кем она играет! А тут – она, Лёлька... Вот удивится!

Но – не зашла. Наверное, ей тоже нравилось так – играть с невидимкой.

А потом у Антошки был концерт в училище. Какой-то очень важный – играют только лучшие! И среди них – Антон. Лёлька приехала в училище пораньше, стояла в фойе и рассматривала старые фотографии.

И тут она увидела их вдвоём.

Клетчатое Пальто с Джоном стояли вместе. Не просто стояли – они были вместе, это сразу видно. У Джона была её скрипка – вот она, наконец-то Лёлька её увидела.

Лёлька даже не расстроилась. Конечно, девушка намного старше его, но она ведь необыкновенная! Странная, конечно, пара – скейт и французская машина... Эх, Джон, Джон! Они очень разные и вместе с тем как будто в чём-то совсем одинаковые. Оба как будто с другой планеты, и оба такие красивые...

– Ну, не переживай, – сказал ей Джон. – Надо ехать – значит, надо...

А она сказала:

– Удачи, Джон! – и пошла к выходу.

И вдруг он догнал её:

– Мама, стой! Ключи забыла...

Мама?! Вот этого точно не может быть. Она же совсем не взрослая как будто...

Выходит, он тоже живёт у Лёльки за стенкой?! И слышал их Весеннюю сонату?

А кто теперь объяснит, почему скрипка осталась у Джона?!

Откуда ни возьмись – Антошка:

– Лёлища, ты уже здесь! – и Джону: – Привет, Джон, играешь сегодня? – Тот кивнул. – «Кампанеллу», да?

– Опять «Кампанеллу», – развёл руками Джон.

Джон! Играет сегодня!

– Лёлька, а там пустой класс есть – пойдём поиграем! – обернулся Тошка к опешившей Лёлке.

– У тебя же концерт вроде бы...

– Да что концерт – через час ещё! Что же мне, целый час сидеть и дрожать? Пойдём, правда, поиграем – зря, что ли, я притащил Бетховена?! Давай, я мигом – только ключ от класса возьму!

Он умчался, а Лёлька смотрела на Джона и не могла поверить. Она даже сейчас не могла представить его со скрипкой (хотя потом, на концерте, оказалось – ему так же ловко со

скрипкой, как и со скейтом). А он смотрел на неё – и тоже не мог поверить: Лёлька и Бетховен! Тоже было не так-то просто представить её за роялем.

«Неужели – ты?» – спросил он одними глазами. «Ага, я», – ответила Лёлька, тоже глазами.

А может, никакого такого разговора и не было, а Лёлька всё придумала.

Тогда Джон спросил по-другому, не глазами. Но и не словами. Он улыбнулся и засвистел Весеннюю сонату.

И в первый раз увидел, как Лёлька широко улыбается ему в ответ.

Панкратьев

– Ты совершенно не умеешь работать! Тебе всё слишком легко даётся, а работать ты не умеешь!

И это они мне говорят потому, что я с больным горлом собралась в школу идти.

– У меня контрольная, – говорю, – третьим уроком. По алгебре.

– Тогда иди только на алгебру и сразу домой!

– А последний – инглиш, – упрямо говорю я. – И так много пропустила.

– Но я же договорилась с Капитолиной! Она поднимет-ся...

(Как поднимется, так и спустится, тихонько бормочу я, чтобы мама не слышала. Меня бы кто спросил, договорились они!)

– Сама теперь ей звони, мне неудобно! – говорит мама.

– У меня голоса нет, – сиплю я.

Мама вздыхает и берёт телефон:

– Капитолина Валентиновна! Извините, но Сонечка в школу идёт. Да, контрольная какая-то... Да-да, совершенно не тому учат! Тестовая система... ЕГЭ... Бедные дети...

Понеслось... Вот же – а когда Капитолина три часа компостирует мне мозг, так дети не бедные! И в ЕГЭ ничего такого страшного нет. Данька сдал нормально, а я что – тупее

его?

И «Сонечка», как же я это ненавижу. И Капитолина Валентиновна. Слышите? Слышите, как вам будто два раза надавили прямо в солнечное сплетение?.. Капитолина Валентиновна! В общем, я сбежала от неё в школу. Маме обещала, что на уроках буду сидеть в шарфе и в шапке. Да-да, в шапке! Лучше сидеть в школе в шапке, чем Капитолина.

Я шла к третьему уроку и думала: как же хорошо тем, кому всё не так легко даётся. Они спокойно ходят себе, например, в музыкальную школу, два раза в неделю. И от них особо ничего не требуется. Сыграл и сыграл, четыре. И – умница, пойдём отметим.

И никто из них не живёт с Капитолиной в одном доме. И она не устраивает им специальность каждый день.

Она живёт двумя этажами ниже. Я всё думаю: а если бы прямо под нами? Вот был бы ужас! Она бы слушала там целыми днями, занимаюсь я или нет. И стучала бы мне снизу. Шваброй. Ей бы пошла швабра.

Вот в прошлую субботу приехал Данька, единственный человек, с которым я вообще могу нормально поговорить. Он теперь студент, в Москве учится и приезжает раз в сто лет.

И тут приходит Капитолина. И говорит: мы будем с Соней заниматься! Даня ей в ответ: я вообще-то к человеку в гости

пришёл. А Капа пошла маме жаловаться, какой он нахал.

В общем, слушал мой Данька два часа, как мы занимаемся. За стеной. Потом говорит: ну она у тебя и компрессор!

Это точно, компрессор. Какой же это ужас – быть любимой ученицей. Куда угодно сбежишь, хоть бы и в школу.

В школе у меня нормально. В том смысле, что и друзей особых нет, но и не достаёт никто. Я сама по себе. Не с кем там дружить, неинтересно. Я же знаю, какие бывают люди. Какой самый лучший мой двоюродный брат Даня. И какой самый лучший Марек, мой учитель. У нас в школе таких нет. Поговорить особо не с кем. И рассчитывать ни на кого нельзя.

– Сенька, ты чего – болеешь, что ли? – спросил Егор.

Сенька – моё школьное имя, уютное, как кроссовки. Не то что «Сонечка». Ну да, если в шарфе и шапке, понятно, что болею. Но всё равно – поинтересовался хотя бы. Егор, наверное, единственный в классе, кто на человека похож.

Так что сначала всё было нормально. Интересно даже: Аришу, нашу классную, вечно уносит в самые разные области. Нырнёт про Чехова, а вынырнет в древних китайцах. Тут вдруг её в модерн унесло. «Вы вообще слово такое слышали – „модерн“? Есть какие-то ассоциации?»

Это она так в воздух спрашивает, чтобы мы поняли, какие

мы все недоразвитые.

Я тут возьми и скажи:

– Шехтель.

– Вот Арсеньева молодец, правильно, – удивилась Ариша. – Ты откуда про него знаешь?

– На экскурсию ездила, в Москву. Там рассказывали, – соврала я.

Даже подумать не успела, сам этот Шехтель выскочил. Не хватало ещё, чтобы потом спрашивали – что за экскурсия. Но никто не спросил – никому, в общем, и дела нет.

А потом, на русском, случился ужас. Нужно было вспомнить пословицы и поговорки с именами собственными.

И тут Егор Федотов и говорит:

– Не по Сеньке шапка!

И весь класс посмотрел на меня. Чёрт, именно Федотов!.. Я стянула с головы эту злосчастную шапку, и все увидели мои оттопыренные красные уши. В кого у меня такие? У родителей нормальные, одна я Чебурашка. Честное слово, лучше бы я Капитолине сегодня досталась.

В общем, все хохочут. Смешно им, значит.

А тут Панкратьев и говорит, лениво так:

– Икота-икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова – на всякого!

И тут Федотов громко икнул.

Класс полёг под парты. Про мою шапку тут же все забыли.

А это ведь не просто шапка, это Данька мне подарил, который лучше каждого из них в сто раз. На первую свою стипендию купил не существующую в природе вещь – шапку, которая мне идёт. И если теперь её снять, то это предательство.

Я опять её надела. По Сеньке шапка, по мне то есть. Болею я, и нет мне дела до этого Федотова икающего. А Панкратьев... Чего он вдруг полез меня защищать? Больно надо. Он внешне недоделанный какой-то, такой злой тролль. Шеи почти нет, уши огромные, а глазки маленькие, как у поросят. Ему бы в кино сниматься в роли существа инопланетного, страшного. Всё сидит тычет в свой телефон и бормочет чего-то. Ладно бы кто ещё защитил, а то Панкратьев этот. Хуже не придумаешь. Или не защитил – просто так сказал?

Противное чувство осталось.

И с Федотовым встречаться глазами не хотелось. Вот же – ведь по-дурацки пошутил он, а глаза отвожу почему-то я.

На перемене я пошла в пристройку. Там компьютерный класс, вечно закрытый. Ещё есть кружки послешкольные, но утром обычно никого нет. Зато в коридоре из окна можно вылезти – и по пожарной лестнице прямо на крышу попасть.

Я замотала шарф два раза – всё-таки горло, а на улице сырой апрель. И забралась на крышу. А там сидит человек.

Спиной ко мне. Курит, кажется.

Я по ушам определила – Панкратьев!

Никогда не думала, что из наших кто-то это место знает.

Он увидел меня и выронил карандаш. Оказалось, это карандаш у него, а не сигарета. Рисует, что ли? Тетрадку свою захлопнул, как меня увидел.

С ума сойти, Панкратьев!

– А, Сенька-Сонька. Тебе, кстати, какое имя больше нравится?

– Сенька, конечно. А ты что здесь делаешь вообще?

– А ты? – отбил Панкратьев.

Я пыталась вспомнить, как его зовут. Нет, не помню.

В общем, он открыл свою тетрадку и опять стал там чирикать. А я ушла на другой край крыши и стала смотреть вниз. Как-то по-дурацки всё. Мне обычно так хорошо здесь, спокойно. А тут Панкратьев этот. Вот же день не задался с утра, и горло дерёт.

– Слушай, Сень. А ты когда на своей виолончели играешь, ты о чём думаешь вообще?

– Чего?..

– Ну... Ты думаешь, куда там пальцы ставить, или типа о музыке больше?

– Не знаю...

Я правда не знаю. Я никогда не думала, о чём я думаю.

– Раньше думала только о пальцах, а сейчас... Я не знаю, словами трудно объяснить.

– А ты попробуй. Подумай, я тебя не тороплю.

Я впервые увидела, какие у него глаза. Жутковатые. Тёмные-тёмные, почти чёрные. И сверлят меня, как перфоратор у соседей за стенкой. Мне стало холодно как-то с ним. Надо же, думаешь, что идиот идиотом, а он вопросы задаёт.

– А тебе зачем вообще?

– Просто интересно. А тебе самой не интересно, что ли, подумать над этим?

Как-то странно. Вот этот псих устраивает мне допрос, а я думаю, что ответить, как дурочка. Но мне и правда интересно.

– Ноты как буквы. В первом классе думаешь, как пишутся. А сейчас нет, просто пишешь, и всё. Тут похожее.

Панкратьев аж вскочил:

– Ты что, серьёзно?! Для тебя любую музыку сыграть – как текст написать? А пальцы не мешают, что ли?! То есть у тебя музыка напрямую из головы шарашит, не заплетается в руках?

Ничего себе, как он. Мне даже страшно стало. С психом на крыше любому будет страшно. И к тому же получается, что я ему соврала.

– Нет. Бывают трудные места – тогда да, думаю про руки. Чаще всего даже думаю. Но если простое место... Нет, думаю всё равно, это не похоже на буквы. Ты меня запутал.

– Это ты меня запутала, – сказал он и в целом был прав.

Я решила с ним больше не разговаривать. Чего привя-

зался вообще? Мы помолчали минут пять. Звонок. Ну вот, опоздали.

– Слушай, Сень. Давай не пойдём ни на какую физику. Ты и так всё знаешь, а мне уже не поможет. Давай?

– Как это... Нет, надо идти. – Я ещё никогда не пропускала уроки просто так.

– Да ты болеешь! Вон голоса нет. Чего пришла вообще? Тебе спокойно можно не ходить.

– И что, – осторожно спросила я, – лучше с тобой тут на крыше торчать?

– Зачем на крыше? На речку пойдём...

Никто и никогда не звал меня куда-то пойти. Вдвоём. Ну разве что Данька, но это другое – он мой брат. Только почему Панкратьев! Вот ужас-то.

– А как мы мимо охранника пройдем?

Он посмотрел на меня с жалостью. Пробормотал:

– Ну вообще... Детский сад. А ещё на крышу лезет.

Через минуту он как-то хитро отщёлкнул замок в этой самой пристройке, и мы вышли.

Это было так удивительно. Вот просто взять и уйти. И быть не в школе, не в музыкалке, не дома. А как-то нигде.

И было такое солнце, совсем тепло. Всё текло под ногами. И мы просто шли, очень быстро. Что хорошо оказалось в Панкратьеве, так это темп ходьбы. Совпал с моим. А то

обычно все тащатся как черепахи. Поэтому я люблю одна ходить.

Мы шли молча. Панкратьев меня как будто вёл, коротко крутил ушастью головой на светофорах, и мы шли дальше. И я вспоминала, что вот так гуляла только один раз, с моим учителем Мареком. И это было сумасшедше. Мы шли с ним, а он говорил, говорил, читал мне лекции про итальянскую музыку. А потом мы вышли на Спиридоновку, и он показал мне особняк Морозова. И стал рассказывать, что его построил архитектор Шехтель, и много говорил про Шехтеля ещё. Потом повёл меня в Трёхпрудный переулок, и потом... В общем, он водил меня по Москве и рассказывал, как Шехтель построил эти волшебные дома, а в итоге умер в нищете. И было солнце, и снег почти растаял, как сейчас. И моя виолончель висела у Марека на плече, он привык ходить с виолончелью, ему не мешает. А я думала, какой он умный, никогда не видела умных таких. И ещё думала, как хорошо с ним ходить и что больше такого уже не будет.

И правда, больше такого не было.

– Тебе нормально, что мы молчим? – спросил вдруг Панкратьев.

– Ну да, – растерялась я от прямоты вопроса. Действительно, как-то неловко идти вместе и молчать. Обычно неловко. Но сейчас нет.

– Слушай, а чего ты вообще со мной пошла? Ничего себе

вопросец.

– Захотела и пошла. Не с тобой, между прочим, а сама по себе.

Потом я вспомнила, как он мне ответил на крыше: «А ты?» И спросила тоже:

– А ты чего со мной пошёл?

– Ну, я – совсем другое дело.

– Почему?

– Ну как! Вот со стороны можно подумать, что у нас с тобой... э... романтическая прогулка. И люди думают: надо же, с такой-то рожей отхватил себе девчонку симпатичную...

У меня стало возникать ощущение, что он специально хочет меня смутить. Вывести из равновесия. Ведь не ждёт же он, что я ему отвечу: да нет, ты очень даже ничего... Чего врать-то, если сам всё понимает.

– Ушастую такую девчонку отхватил, – сказала я. Понимаю – «симпатичную» он просто так ляпнул, к слову пришло.

– Ха! Ушастая нашлась. Под шапкой незаметно. Вот свишня. И говори с ним после этого.

А он вдруг добавил серьёзно:

– На самом деле мне наплевать, конечно, что там люди со стороны думают. Мне просто захотелось поговорить с человеком. А ты вроде тоже не против поговорить. И не дура вроде бы. Не дура же?

– Ну, вообще, все про себя так думают. Что они не дуры.

– Я точно не дура, – засмеялся Панкратьев. – Хотя иногда думаю, что мне мозгов не хватает.

– И при этом думаешь, какой ты умный. Это же известный признак ума. Все вон не догоняют, какие они дураки, а ты догнал.

– Точно, – опять засмеялся он. – Слушай, похоже, я не зря с тобой пошёл.

А я подумала, что и я тоже не зря. И ещё подумала, что, когда тебе говорят: да, у тебя реально уши торчат, но ты не дура, – это круче, чем папино «Сонечка у нас умница и красавица».

– Да, а ты докрутила про музыку? О чём думаешь, когда играешь, – можешь сказать?

– Нет... Я забыла. Я сейчас думала о другом.

– О чём? – бесцеремонно спросил Панкратьев.

– Ну... Про учителя своего.

А ведь мне, пожалуй, нравится ему отвечать.

– Хороший учитель?

– Самый лучший, – ответила я опять честно.

Панкратьев вздохнул.

– Повезло тебе. Завидую. У меня такого нет.

– У меня, в общем, теперь тоже нет. Он уехал. В Москву.

– А. Жалко. Ну, хотя недалеко же. Ты можешь к нему ездить.

– А я и ездила.

Вот ничего себе! Я думала, никто об этом никогда не узнает, такая великая тайна. Взяла и разболтала Панкратьеву какому-то.

– Знаешь, это он меня научил думать не только о пальцах.

– Как его зовут?

– Марк... Марк Миронович.

– Ого! Вот имя. Сплошной мурмур. Ля мур? – ехидно прищурился он.

– Да ну тебя!!! – взорвалась я. – Вообще не буду ничего говорить больше.

– Извини. Да ладно, ты ж совсем не обиделась! Рассказывай давай. Ты же хочешь рассказать?

А ведь правда, хочу.

И я рассказала ему. Про Капитолину, про то, как я у неё училась. Играла чего-то там, получалось так себе. Хотела музыку бросить, не знала только, как родителям об этом сказать. А потом Капитолина заболела, и на замену пришёл мальчик из училища, студент. Марк Миронович. Марек.

– Симпатичный, что ли?

– Нет, – честно ответила я. – Совсем нет.

Лицо у него такое треугольное, острое. На какого-то зверька похож. Маленький, быстрый. Вот совсем этого не было, чтобы он мне внешне понравился. Он не похож на таких, которые сразу нравятся.

Я была в третьем классе. Сиж у него на уроке, пилю там

чего-то. А он вдруг спрашивает:

– Как думаешь, вот это нота ля. Почему она здесь? Почему не ми, ведь было бы логичнее, согласишься? Зачем композитору понадобилось это ля, чего он хотел?..

И я первый раз тогда подумала: а правда, почему? У Капитолины таких вопросов ко мне не было. Было: рука, локоть, пальцы. Выше, ниже, громче.

А Марек вдруг спросил меня: зачем?

И мы почти не занимались в тот день. Он мне объяснял, и рассказывал, и играл сам. Объяснял, как вот это ля может быть внезапным разочарованием. Или подарком. Что оно – неожиданный поворот, а куда – мне решать. И одна нота может оказаться одуванчиком. Или рукой друга. Или снегом, например.

И я поняла, что не брошу виолончель никогда в жизни.

Потом Капа выздоровела. За месяц с Марексом что-то повернулось в моей голове, и внезапно оказалось, что мне всё легко даётся. И Капа стала со мной заниматься дополнительно. И дополнительно к дополнительному. И дополнительно к дополнительному-дополнительному.

– А чего ты не уйдёшь от неё, раз она такой монстр? Что, других учителей нет? – спросил Панкратьев.

– От неё как уйдёшь... Она считается супер какой педагог, понимаешь? К ней попасть... Очередь стоит. Ну, она реально хорошо учит, в смысле, руки там... И Марк у неё учился тоже, нормально. Даже не то что нормально – он очень круто

играет, в училище был лучше всех. Ну, и в Москву поступил теперь. Уехал.

– Скучаешь, – сказал Панкратьев. Удивительно серьёзно сказал, не смеялся.

– Да. Скучаю.

– Круто, – вдруг сказал он. – Завидую тебе. Я пока не скучаю ни по кому.

И я подумала – а ведь правда. Если бы не было Марека, вот этого уехавшего Марека там, в Москве, по которому, да, я так страшно скучаю, – разве мне было бы лучше?

Капитолина тогда, в третьем классе, за меня взялась крепко. И я занималась, ведь когда начинает получаться, когда понятно становится, что делать, да ещё хвалят – так хочется дальше, дальше! Но от меня все хотели чего-то ещё, а Капитолина совершенно не давала мне дышать. И через два года я Марка встретила на концерте, он спросил: как у тебя со специальностью? И я разревелась в ответ, как дурочка. А он сказал: приходи, позанимаемся. Что-нибудь придумаем.

И я стала ходить к нему в училище. Редко, раз в месяц где-то. Ему некогда ведь, у него был дипломный год. Иногда классов свободных не было, и мы просто сидели с нотами в столовой. И он говорил со мной – что там в этих нотах и как.

– Понимаешь, он не объяснял мне, как играть. А спрашивал. Заставлял, чтобы я сама думала. Говорил: ты же не обезьяна, чтобы я тебя дрессировал, не мишка на велосипеде. Давай сама. Куда идёт эта фраза, какая нота тут главная. И

вот мелодия – это кто? Воин или поэт?.. А Капитолина не так, она именно дрессирует, как в цирке. И хочет, чтобы я играла не как я, а как она хочет. Она точно знает, как надо. Вот что меня в ней бесит: она знает, как надо! Шаг влево, шаг вправо – расстрел!

– Ладно, Сень, не кричи, я понял. Ну чего ты. Понял я. Про Марка знает она? Что вы занимаетесь?

– Нет, конечно, ты что! Она бы закопала нас обоих и сверху села!

– А, выходит, ты занимаешься с Марком, а она думает, что ты сама такая талантливая.

– Вроде того, – кивнула я. Это он смешно сказал, я об этом раньше не думала. Хотя после Мареновых уроков Капа иногда, наоборот, орала на меня, что всё не так. Но я-то чувствовала, что так!

– Повезло тебе с учителем, – снова сказал Панкратьев. – Значит, в Москву к нему едешь?

– Два раза только ездила. Только никому не говори, родители не знают.

– Сама, что ли?! Ну ты вообще!

– Яс Даней ездила, с братом. У меня такой брат... Как лучший друг.

– Слушай, ты такой счастливый чувак, Сенька, – вздохнул Панкратьев. – С виду и не скажешь. А у меня никого нет.

Я в первый раз подумала: а ведь правда. Счастливая. У меня и Данька, и Марек. И виолончель. У других ведь такого

нет. У Панкратьева, например. Как вот он живёт?

– А я тут тоже в Москву ездил, – сказал он вдруг.

– Зачем?

– Просто. Смотреть. Сам ездил, ходил везде...

– А родители тоже не знают?

– Нет. Но если бы спросили – я б сказал.

– Как это? Если бы спросили, не ездил ли ты в Москву?..

– Ну, скажем, мама тогда позвонила бы и спросила: ты где? Сказал бы.

– И что бы тебе было?

– Не знаю, – пожал плечами Панкратьев. – У нас договорённость такая, не врать. Поэтому они стараются не давить на меня, чтобы это не испортить. Я не вру, ну и они мне тоже.

Ничего себе. «И они мне тоже». Я как-то раньше не думала об этом, врут мне родители или нет. Наверное, всё-таки врут. Но не специально, а так, по привычке. Вот он откуда такой, Панкратьев. Значит, всё-таки есть у него с кем поговорить. Надо же, родители... Но им ведь всё равно всего не расскажешь.

– Ты мне тоже хочешь что-то рассказать, да? Ты же не меня хотел слушать, а сам говорить, – догадалась вдруг я.

– Точно, – сказал он. – Но не совсем. Про Марка хорошо, мне очень понравилось. Я люблю слушать вообще. Спасибо, кстати, что рассказала. За это... За доверие.

– Спасибо, что слушал...

Я вдруг испугалась на секунду. Испугалась, что это он сей-

час так. А потом раззвонит всем про моего Марека. Страшно как. Нет, не может быть!

– А ты смелая, – сказал он вдруг.

– С чего ты взял?..

– Не боишься, что я расскажу кому?

Он мысли читает, что ли?! Я даже споткнулась. И он меня поддержал. За плечо. И я подумала, что ещё час назад мысль о том, что какой-то Панкратьев до меня дотронется, была бы отвратительной. Атак – ничего, нормально. Нет, он никому не скажет. Точно.

– Никому не скажу, не бойся, – подтвердил он. – Это такая штука, доверие. Таким не бросаются.

Мы шли всё дальше. Я вдруг поняла, что совершенно не представляю, где мы вообще. Я этой части города не знаю. Баржи какие-то на реке... Как будто в другом, совершенно незнакомом месте.

– А ты раньше школу прогуливал? – спросила я.

– Конечно. А ты первый раз, да?

– Да...

– Поздравляю... Не, ты не думай, я редко. Только если дело какое. Я вообще люблю в школу ходить.

– Чего? – не поняла я. Это так странно звучит. Как «Я люблю варёный лук». Есть, наверное, люди, которые любят. Но я не видела.

– Люблю, говорю, в школу ходить. Интересно. Сажу на людей смотрю... Как там, кто и что.

– А, так мы для тебя вроде зоопарка? – догадалась я.

– Ну да.

– А тебе не кажется... Вот тебе не кажется, что это может быть обидно?!

– Конечно, обидно. А я и не обещал никого не обижать. К тому же я не запрещаю никому рассматривать меня. Так что всё честно.

– Вот ты, Панкратьев... Получается, что ты ставишь себя выше всех. Что ты у нас самый умный. А мы все так...

– Ну, не все. Ты, например, ещё ничего. А я действительно самый умный, да. Я так думаю. Ничего в этом такого нет. Вообще, в нашем классе нетрудно самым умным быть. Наверное, многие так про себя думают, только не говорят. Да и ты тоже – разве нет?

Вот чёрт. А ведь правда. Я думаю, что я умнее их всех, что все вокруг тормоза и поговорить не с кем. Неужели правда? Каждый думает так?..

– А ведь знаешь, Панкратьев, я ведь раньше и про тебя думала, что ты совершенный придурок. А ты оказался вот что. А вдруг... А вдруг – и другие так?

– Нет, – уверенно помотал головой Панкратьев. – Они, может, и думают про себя чего. Но таких, как я, нет. Я такой один на всём свете, точняк.

Так странно, что он это говорит. Ведь никто так не говорит: «Я самый умный». Это не принято, нас ведь учили – надо скромным быть, говорить – да что я, да я ничего... А вот

Панкратьев говорит что думает. Думает, что самый умный, – и так говорит. Странно. И... И не сказать, чтобы мне это не нравилось. Ведь он и правда, похоже, умнее всех.

– Слушай, Сень. А «вот что» – это что?

– Чего? – не поняла я.

– Ты сказала сейчас. Думала, что я придурок, а оказалось – «вот что». Что это такое оказалось, а?

– Оказалось, что нет, не придурок, – ответила я. Хватит с него. Хотя... Хотя нет, не хватит. – Оказалось, что с тобой можно поговорить нормально.

Высокие дома кончились. Начались маленькие деревянные домики, дворы. Деревня какая-то, а не город. Собаки из-за заборов лают...

– Сень. Я ведь правда хотел рассказать. Только ты никому, ладно?

– Конечно.

– Это глупо... И если я тебе говорю – значит, надеюсь, что ты никому не скажешь. А ты... Ты как хочешь. Просто я тебе доверяю. Имей в виду.

Я вдруг испугалась. Что он мне сейчас выдаст какую-то жуткую тайну. Вроде того... Вроде того, что он в кого-то там влюблён. Только бы не в меня. Только бы. Ой. Потасил гулять. Вот я дура. Чёрт... Только не это. Только не Панкратьев. И что мне потом с ним делать?!

– Сенька. Вот ты, ты. Ты вообще хочешь на виолончели играть? Всю жизнь? Ну, работать музыкантом. Хотела бы?

– Не знаю... Я не думала пока, кем работать. А ты?

– Вот. Вот про это хотел как раз. Я... Я, знаешь, хочу кино делать. Режиссёром быть.

Уф. Обошлось. Значит, это и есть его тайна? Только-то... Гора с плеч. И даже... даже какое-то разочарование.

– Да. Хочу снимать кино. Своё, чтобы всё сам. Авторское. И... Вот за этим я на людей смотрю. Смотрю, смотрю. Думаю, я смогу. Чувствую в себе силы. Понимаешь?

– Понимаю. Да, похоже, ты сможешь.

Мне вдруг показалось на секунду, что Панкратьев гораздо меня старше. И выше. И вообще... великан.

– Знаешь... А я раньше думала – ты только в телефон играешь целыми днями. И больше не умеешь ничего...

– Не. Телефон – это как блокнот. Я записываю туда, что вижу. Ну, и рисую ещё... У меня такое приложение стоит. Ну, и снимаю немножко.

– Что ты снимаешь? Нас, что ли?!

– Ну, бывает. Но ты не бойся, это же просто для себя. Я же не выкладываю никуда. Я думаю просто...

– Вот же ты зараза. Поосторожнее надо с тобой. И чего думаешь?..

– Да. Есть у меня... Несколько мыслей есть. Но я хочу от начала до конца, понимаешь? Всё сам. Мне кажется... Дело не в спецэффектах, не в технике. Я вот думаю, настоящее кино можно и на телефон снять. Главное – о чём. Зачем. Понимаешь?

– Понимаю, да...

Это было так неожиданно. И так здорово. Что вот это Панкратьев, которого я не знаю даже, как зовут. Что он оказался такой. Псих ненормальный, нас снимает с последней парты. Свинство какое. И как же круто.

– И всё-таки. Ты про что хочешь снять, про школу, что ли?

– Да нет. Про людей. Школа – это частный случай... Знаешь... Ладно, расскажу тебе. Только не говори никому. Это... Это я прямо тебя прошу.

Мы шли долго. И он молчал. И светило солнце, ослепительное. И когда я решила уже, что он ничего не расскажет, он сказал:

– Я думаю. Я всё время думаю... Разное. Такое... Ну, мир. Другая организация мира. Чтобы обострить... Чёрт. Как же это объяснить, я совершенно не умею словами. В башке крутится – не могу собрать.

– Ну, тренируйся тогда объяснять. На мне, как на крысах. Я постараюсь понять, я тебя не тороплю.

Панкратьев кивнул, покрутил своей башкой круглой, а потом опять начал говорить:

– Вот представь... Представь такой мир. Где люди не говорят. Например... Ну, скажем, не придумали речь. Вообще. Может ли развиваться такой мир? Ну, есть несколько сигналов, как у животных. «Опасность» там или «все сюда». Или... бежим!

– Куда? – чуть не сорвалась я, так он вдруг заорал.

– Да нет, это такое слово, знак. Может, и не нужно «бежим», хватит только «опасность». Сколько вообще необходимых слов, чтобы жить? Может, и вообще ни одного не нужно. И все слова – просто болтовня. Понимаешь? Может ли развиваться мир без болтовни? Без слов, без языка. Молчаливый мир.

– Я думаю, нет... Нет, ну как! Без слов?.. Совсем?

– Да. Нужно ли обозначить мысль словами, чтобы думать?

– Нужно... конечно, нужно! Как же... без слов?

– Нет, ты подумай. Ведь если нет слов, значит – нет болтовни. Нет вранья. Вообще.

– Ну и правды же тоже нет!

– «Же тоже», – передразнил он. – А вот и нет. Правда бывает и без слов.

А ведь точно. Бывает.

– Понимаешь, Сень, сюжеты разные носятся в башке. На эту тему. Но вот мир без слов. Это же так круто можно снять, понимаешь? Только картинка.

– Немое кино? Ведь было уже!

– Нет, было другое. В немом кино предполагалось, что люди всё-таки говорят. И был текст. А тут – нет никакого текста. И... И перевод ведь не нужен такому кино, сразу на весь мир. Круто, скажи?

– Ничего так у тебя самомнение...

– А то! – засмеялся он, а потом вдруг стал серьёзным. – Я не хочу пургу снимать. Снимать – так круто. Сразу.

Мы помолчали.

– Или по-другому, – снова заговорил Панкратьев. – Например, людям трудно говорить. Физически. Такой, скажем, город. В нём живут люди, у них... Ну, такое... Так глотка устроена. Слово сказать – как мешок кирпичей перетащить на пятый этаж. Устаёшь. Ну, и люди говорят только в самых крайних случаях. Смертельно опасных, например.

– Или ещё есть спортсмены, – добавила я. – У нас же есть штангисты, например. Тяжело – а они поднимают и поднимают. И тут тоже. Такие... говоруны. Плачут, а говорят! И все вокруг удивляются – как вот им не лень! И восхищаются тоже...

– Круто, – кивнул Панкратьев. – Спортсмены-говоруны. Я об этом тоже подумую. Ты молодец.

Мы шли дальше, и было совсем тепло. Я даже размотала шарф, только шапку оставила. Данькина потому что. А Панкратьев совсем снял куртку. И я потихоньку рассматривала его и думала: почему мне кажется, что он похож на тролля? Голова большая – наверное, поэтому. Сам маленький, а голова огромная. Какая-то взрослая голова. Может, когда у него туловище дорастёт до этой головы, он не будет казаться таким страшным? Ведь лицо само по себе... Нет, всё-таки лицо жуткое. Глаза вот эти тёмные, маленькие... Как гвоздики. И чего он такой? Даже жалко. Хотя ему, кажется, это особо не мешает.

– А вот ещё, Сень. Я представляю человека в городе. Внут-

ри города, понимаешь? Такой человек – один. Идёт по городу.

– Нет, не понимаю пока... Идёт себе – и что?

– Словами сложно объяснить... У меня в голове прямо картинка. Понимаешь, это не просто человек. Он как бы... Вот в домах бывает домовый. А в городах... Городовой не подходит, это другое слово. Просто хранитель такой, Хранитель города. Понимаешь? И он так быстро по городу идёт... Смотрит, чтобы всё в порядке. Везде может пройти, быстро. По стенам, по лестницам... Я даже думаю, что на эту роль нужен паркурщик.

– В смысле трейсер?

– О, да ты в теме. Я боялся, ты слова такого не знаешь.

– Ты правда думаешь, что все вокруг глупее тебя?

– Извини. – Он как-то смутился и замолк.

И я испугалась. Что он больше ничего не расскажет, что он обиделся. Вернее, не обиделся даже, другое. Просто было – словно мы с Панкратьевым внутри воздушного шарика. Все люди снаружи, а мы внутри, и там можно говорить что думаешь. Ничего вроде бы особенного, но такое пространство, общее, в котором легко. Не страшно. А тут вдруг... Вдруг этот шарик лопнул.

И стало как всегда. Надо было мне лезть с трейсерами этими...

– Расскажи дальше, – попросила я.

– Тебе интересно хоть?

– Ужасно интересно! – Мне захотелось его назвать по имени, но я же не помню – надо же так, не помню, – как его зовут!

– Мне и самому интересно, – сказал он.

Шарик, кажется, вернулся. Ура.

– Мне интересно, да. Но я пока не понимаю сам. Не складывается у меня в слова. Да, кстати, я даже актёра присмотрел одного. Есть у меня трейсер знакомый. Показать? – И он достал телефон.

Там у него было видео. Как парень бежит по перилам, запрыгивает куда-то на крышу, потом через гаражи... Здорово бежит. Видимо, Панкратьев просто ролик из интернета скачал и хвастается теперь. Зачем вот?..

– Слушай, но ведь это всё философия. Мир без слов и Хранитель города... У тебя сюжет есть какой-то? А так – это скорее книжка. С размышлениями. Может, ты писатель?

– Нет, какой я, к чёрту, писатель. Я картинку вижу, понимаешь? Словами особо не могу, не выходит. А сюжет есть. Но ещё пока... Пока нет, я тебе потом расскажу. Мне главное, понимаешь, что вокруг. Выстроить мир. Чтобы поверили в него, понимаешь? Чтобы настоящий. Но другой, не этот.

– Вот оно что. Значит, этот мир тебя не устраивает?

– Нет, почему... Не в этом дело. Хотя, конечно, не устраивает, да. Тебя, можно подумать, устраивает. Но уж какой есть. Просто мне хочется разобраться в этом мире через другой. Понимаешь, нет?

А мир вокруг был, в общем, очень даже ничего. С оторванными досками заборов, с рекой, несущей последние островки льда, с кустиками прошлогодней травы. Весь высветлен солнцем и обещанием тепла. И даже Панкратьев, когда он щурится на солнце, не такой уж и страшилка.

– Слушай, Панкрат. А почему ты такой? В школе. Сидишь там в углу, прикидываешься идиотом. Зачем? Ты же умный, правда. С тобой интересно. – Панкратьев сощурился ещё больше и смотрел прямо на солнце. – Зачем ты строишь из себя дурака?

– Никого я не строю, – ответил он. – Я просто смотрю. Я наблюдатель, понимаешь? Я не то чтобы умный. Я просто смотрю. Учусь смотреть, слушать. Я хочу... Ну, наблюдатель должен быть незаметным. Пока. Пусть Федотов умничает, зажигает там. Интернетными своими шуточками, пусть себе. За умного сойдёт. А мне не надо, понимаешь? Я сам про себя знаю.

А ведь и правда, правда. Егор Федотов только и делает, что острит. И да, это точно не своё, а всё из... Я же сама половину из того, что он говорит, видела «ВКонтакте», и всё равно Егор кажется мне неглупым. Казался. Раньше. Чёрт бы с ним, Федотовым. Смешно он сегодня про шапку сказал, сам придумал. Молодец. Надо было посмеяться со всеми, да и всё.

– А ещё, знаешь, я придумал что. Ну, это скорее мультик, можно нарисовать. На фильм не тянет, у меня сюжета опять

нет, просто картинка. Город, старинный. Средневековый. С лестницами, узкими кривыми улицами, булыжной мостовой. Город как город, только в нём – стена. Высокая. И что за стеной – никто не знает. Вроде бы... вроде бы за стеной живут монахи. Но никто их не видел. Просто легенда.

И ещё – в стене есть такая комната... Туда можно зайти. И там – окошко. Окошко туда, за стену. Тёмное – посмотреть нельзя. Но можно протянуть в него руку. И там... Вот монахи, которые там живут. Они возьмут тебя за руку. Просто возьмут за руку, и всё. Говорить с ними нельзя. И неизвестно, монахи они или что. Просто все знают: если тебе плохо... Или, наоборот, хорошо... В общем, если тебе нужен человек рядом, поделиться чем-то, а никого нет... ты можешь прийти к стене, просунуть руку в окошко. И там будет другая рука. Тебе ответят.

Я сразу представила это, очень хорошо. Город, стену. Окошко. И как я подхожу и кладу руку. Вообще не знаю – нужно мне это? Чтобы чужой какой-то монах брал меня за руку? Другой, невидимый, незнакомый мне человек.

– Догадалась, нет? – спросил он. Такой независимый, умный такой шлёпает. Руки в карманах.

– До чего? – не поняла я.

– А, значит, нет. Там, с другой стороны, нет никаких монахов. Там такой же город. И люди так же приходят к стене, просовывают руку в окошко... Поняла?

Ухты. Поняла, да.

– А как тогда... Как тогда они одновременно приходят?
Ну, почему совпадает всегда?

Он усмехнулся, загадочно так. А потом сказал:

– Неужели непонятно? Там всегда очередь стоит. С обеих сторон.

Надо же. Надо же, что у него в голове.

Он вдруг зашагал быстрее. Будто хотел убежать. Сморозил что-то такое, о чём не хотел говорить, и рванул.

Я даже подумала – ну и пусть. Пусть так странно оборвётся разговор. Но впереди горел красным светофор, и Панкратьев остановился, подождал меня. Хотя машин не было. Он вытащил руку из кармана, и я испугалась, что он возьмёт меня за руку. Но он просто почесал нос. А потом сказал, не оглядываясь – знал, что я рядом стою:

– Знаешь, ещё в этом мире, где молчат... У меня был ещё такой вариант... Люди не передают друг другу информацию. Вербально. – Ух ты, «вербально»! Похоже, перестал считать меня душой всё-таки. – Но им хочется всё-таки чувства передавать, эмоции. Без этого как-то... Как-то они недолюди. Вот я подумал – музыка. Нет речи, слов, но у человека, скажем, с собой флейта. И он подходит к другому и играет. Играет ему то, что можно бы сказать. Свою радость играет или злость. Ведь можно же и злость, правда?.. Представляешь такой город, такой мир?.. Представляешь, Сенька?

Я молчала. Чёрт, как это всё у него помещается в голове? Все эти его города. Может, он просто вычитал это всё?..

Не может быть, чтобы Панкратьев... Хотя что – Панкратьев? Видно же. Видно, какие умные глаза. Какой лоб огромный. Это я и вправду бестолочь, что не разглядела раньше.

– Я пробовал учиться, – продолжал он. – Пианино пробовал, потом гитара... И не смог, пальцы вот эти, ноты... Ужас. Не смог я, дурак, наверное. Понимаешь – слышу, а пальцами сыграть не могу. Я бы хотел своё играть. Я чужое не хочу. Вот бы программку такую в телефон. Чтобы музыку... Ну, не знаю. Чтобы то, что в голове, зазвучало.

– Прямо из мозга, что ли?

– Ну, не знаю. Или всё-таки научиться... Другие же могут! Вот ты, например. Что я, глупее тебя, что ли?

– Нет, – засмеялась я, – похоже, не глупее. Но и не умнее сильно, ты там не воображай особо.

Вообще, это было враньё. Он сильно умнее. Но уж очень, правда, стал воображать.

– Поехали в Москву, – сказал он вдруг.

– Что, прямо сейчас?..

– Ну а что? Смотри, мы уже на станцию пришли.

– Какую станцию?.. Вокзал же далеко.

– На следующую, балда. Вообще города не знаешь своего.

Я вдруг поняла, что он всерьёз.

– Нет, Панкрат. Ты что! Мне домой надо...

– А, извини. Я забыл.

– Понимаешь... Это ты вольная птица. А мне заниматься. – Только бы он не подумал, что я из-за родителей!

– Заниматься? А, на виолончели?

– Конечно.

– Каждый день, да?

– Ну да. Часа по четыре выходит.

– Сколько?! Обалдеть. Ну ты вообще... Каждый каждый день?

– Ну да... А как ещё?..

– Ну, тогда поехали в другой день. Ты же раньше ездила. Поехали, а? Позанимаешься там с Марком своим...

– Нет, Панкрат. Понимаешь... Понимаешь, мне, наверное, больше не нужно к нему ездить.

– А, – сказал он. – Ясно. Я-то думал... Я думал, и правда учитель. Значит... Поссорились с ним, да?

– Да нет, Панкрат, нет. Другое. Не поссорились.

Как вот это объяснить, если я и сама не понимаю?.. Как я приехала к нему второй раз. Ждала целый месяц, что вот, приеду. И думала, что мы опять будем заниматься два часа, а потом Марек будет водить меня по Москве... Но ему было некогда. Было видно, что некогда, хотя мы договорились заранее! Нет, он хорошо занимался со мной. Слушал, говорил важное. Но при этом не выпускал телефона из рук, кому-то писал. И я чувствовала, что ему не до меня. Ну и потом он спросил: чай будешь?.. Я сказала – нет. И ушла. И два часа мёрзла на улице, ждала Даню. Если с тобой занимаются из вежливости... зачем тогда?

– Понимаешь, не хочу ему надоедать. Хватит. Он и так со

мною много возился...

Сейчас Панкратьев скажет: да брось, ерунда. Мало ли что у него там было важное в тот день! Позвони хотя бы, выясни, что и как.

Но он ничего такого не стал говорить.

Я только сейчас поняла, что мы идём обратно в город. Видимо, сделали круг, а я и не заметила как.

– Знаешь, – сказала я ему, – я иногда думаю: зачем вот? Виолончель эта мне – зачем? Все люди как люди... Брошу, наверное.

– Совсем?

– Совсем.

Мне вдруг правда до ужаса захотелось бросить. Чтобы вот так – раз! – и поехать в Москву, просто так. Вон с Панкратьевым этим, например. Или одной. Или просто ходить, вот так ходить по своему городу и узнать наконец, какой он. А то всё на бегу... Или читать. Или... Да мало ли что! Вот представить только, что в жизни освободится четыре часа. Каждый день!

– Ты это зря, Сень, – сказал вдруг Панкратьев. – Не моё, конечно, дело, но... Понимаешь, в тебе только и есть – музыка твоя. А без музыки – что? Кто вот ты без музыки? Просто Сенька, ну, симпатичная. Есть и посимпатичнее ещё. Правда, по физике сечёшь, по математике там. Но это не то, ты не одна такая. Я бы и не посмотрел на тебя, понимаешь, если бы не музыка. У тебя дело есть. И ты его делаешь супер как.

Да, супер, я слышал. Поэтому ты круче всех.

– Слышал?..

– Да. На улице слышно, как ты занимаешься. Я иногда хожу и слушаю специально. Очень круто ты играешь, Сонька Арсеньева. Не бросай.

Я не знала, что ему ответить. Ну правда, что тут ответишь?

Неожиданно оказалось, что мы пришли к моему дому. Значит, и правда знает, где я живу. И подъезд мой знает.

– Ну, пока, – сказал он вдруг. – Спасибо вообще.

И, не обернувшись, помчался дальше. Ну и скорость, даже я устала так быстро ходить.

Я пришла домой – хорошо, никого нет. Не надо никому объяснять, куда я пропала. Записка от мамы: «Позвони Капитолине, обязательно!»

Ну да, позвоню. Потом.

Я открыла на планшете страничку нашего класса. Оказалось, его зовут Дима. Точно, я ведь знала раньше. Димка Панкратьев.

Как было с ним здорово. Наверное, так больше не будет.

...И точно, так больше не было. На следующий день он просто кивнул мне, ну и я ему. И всё, он уткнулся в свой телефон. Потом ужасно отвечал на алгебре, мычал чего-то, и мне было чудовищно стыдно за него. Ну как можно быть таким тупым?! Ведь Панкратьев же, ну как?!

Дальше всё было, как и раньше. Мы ни разу не вспомина-

ли, как под весенним солнцем прочесали вдвоём весь город. Только я один раз увидела, что он снимает. Снимает нас на телефон, со своей последней парты. И он заметил, что я вижу. И приложил палец к губам – тсс! И подмигнул, заговорщически так.

А потом он исчез. То ли перешёл в другую школу, то ли совсем переехал. Не знаю куда, не у кого спросить. Ведь с ним никто не дружил.

Но я надеюсь, что когда-нибудь я услышу о нём, о Димке Панкратьеве. Мы все услышим. Когда он снимет своё кино.

Крендельков

Мама ходила к директору, спорила, доказывала— бесполезно.

Дело в том, что в июне умер Лев Миронович Штайн, Тимкин учитель скрипки. Тимкино горе – первое такое большое, настоящее горе – как будто уже затёрлось. Лето, море, велосипед... Но сейчас, в сентябре, он с неожиданной ясностью понял, что никогда больше не придёт к Штайну на урок. Не придёт в его особенный дом: высоченные потолки, медные ручки шкафов, пластинки, книги – на русском, немецком, шведском. Букет сухих листьев на рояле. И сам Штайн в высоком кожаном кресле, огромный, седой. Ему трудно было ходить, и Тимка по-хозяйски заваривал чай, разливал по звонким чашечкам... Всё, больше этого не будет. И главное – нужно идти на урок к совершенно чужому человеку. Кренделькову какому-то. У кого учишься? У Кренделькова... Жуть. И откуда он вообще взялся!

Мама доказывала директору:

– Ведь это уму непостижимо – в шестом классе переводить мальчика на виолончель!

Тот оправдывался – не хватает учителей по скрипке, а у Тимы большие руки, виолончельные. Но дело было не только в этом. Просто директору хотелось, чтобы в школе был оркестр, а оркестра без виолончели не бывает. Раньше учи-

телей не было, а тут – на тебе, Крендельков! «Молодой, перспективный». Этого ещё не хватало. «Чудный инструмент— основа оркестра, фундамент... Может, вам понравится – вы бы попробовали хотя бы на год!»

– На полгода, – устало согласилась мама.

Тимка вспомнил один концерт – там на виолончели играла тётенька с некрасивым лицом. Пум, пум... Фундамент. А Тимка не хотел быть фундаментом! Он хотел быть звонкой первой скрипкой, тем более что теперь, в шестом классе, он вполне мог бы быть первым! Эх, Крендельков-Коврижкин...

– Не переживайте вы так, – уговаривал папа и Тимку, и маму. – Может, он не так плох, как вы думаете!

На самом деле оказалось – ещё хуже. Антон Петрович Крендельков, на вид – лет семнадцать. Маленький, щуплый, в очках, уши торчат... Антошка-картошка. На первый урок он пришёл в красной футболке с Чебурашкой (вернее, с «Чебурашкой», который был в военном берете и с усами, как у Че Гевары). Смешная, в общем, футболка. Только Тимке не до смеха. Он с первого взгляда невзлюбил в этом Кренделькове всё – от дурацкой майки до очков и оттопыренных ушей. Коржиков-Карамелькин...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.